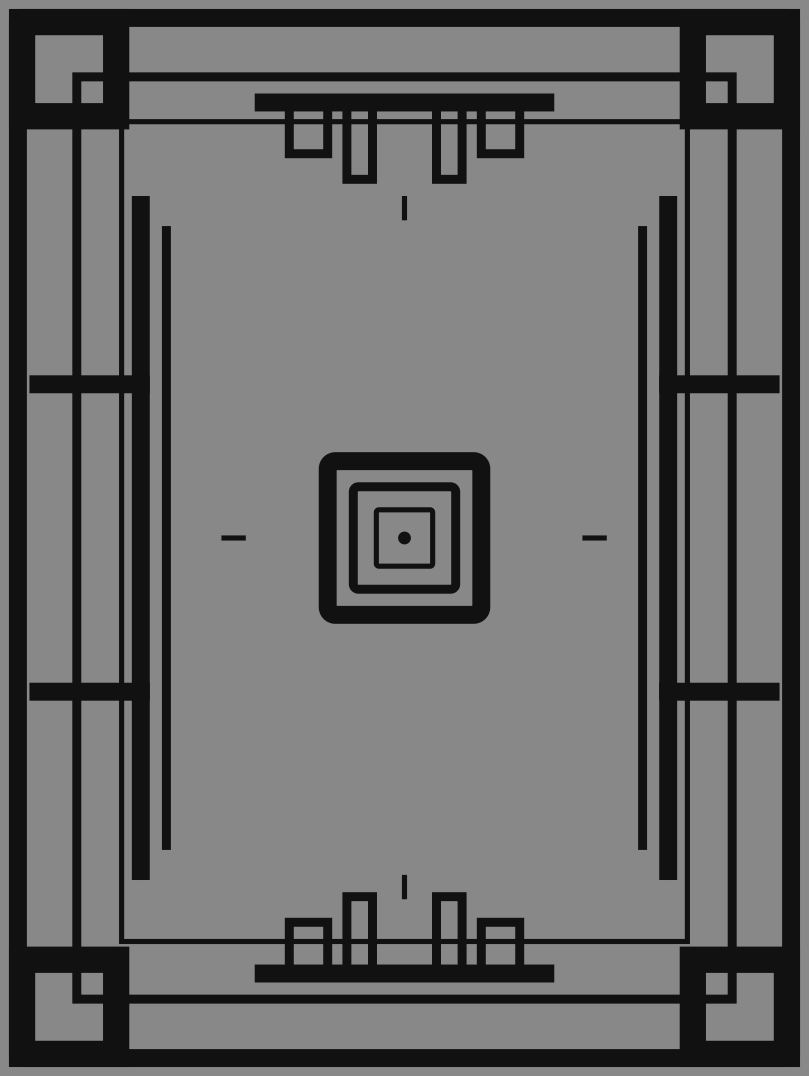

Олеся

Александр Иванович Куприн

А. И. Куприн. Олеся
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII
XIV

А. И. Куприн
Олеся

I

Мой слуга, повар и спутник по охоте — полесовщик Ярмола вошел в комнату, согнувшись под вязанкой дров, сбросил ее с грохотом на пол и подышал на замерзшие пальцы.

— У, какой ветер, паныч, на дворе, — сказал он, садясь на корточки перед заслонкой. — Нужно хорошо в грубке протопить. Позвольте запалочку, паныч.

— Значит, завтра на зайцев не пойдем, а? Как ты думаешь, Ярмола?

— Нет… не можно… слышите, какая завируха. Заяц теперь лежит и — а ни мур-мур… Завтра и одного следа не увидите.

Судьба забросила меня на целых шесть месяцев в глухую деревушку Волынской губернии, на окраину Полесья, и охота была единственным моим занятием и удовольствием. Признаюсь, в то время, когда мне предложили ехать в деревню, я вовсе не думал так нестерпимо скучать. Я поехал даже с радостью. «Полесье… глушь… лоно природы… простые нравы… первобытные натуры, — думал я, сидя в вагоне, — совсем

незнакомый мне народ, со странными обычаями, своеобразным языком… и уж, наверно, какое множество поэтических легенд, преданий и песен!» А я в то время (рассказывать, так все рассказывать) уж успел тиснуть в одной маленькой газетке рассказ с двумя убийствами и одним самоубийством и знал теоретически, что для писателей полезно наблюдать нравы.

Но… или перебродские крестьяне отличались какою-то особенной, упорной несообщительностью, или я не умел взяться за дело, — отношения мои с ними ограничивались только тем, что, увидев меня, они еще издали снимали шапки, а поравнявшись со мной, угрюмо произносили: «Гай буг», что должно было обозначать «Помогай бог». Когда же я пробовал с ними разговориться, то они глядели на меня с удивлением, отказывались понимать самые простые вопросы и все порывались целовать у меня руки — старый обычай, оставшийся от польского крепостничества.

Книжки, какие у меня были, я все очень скоро перечитал. От скуки — хотя это сначала казалось мне неприятным — я сделал попытку познакомиться с местной интеллигенцией в лице ксендза, жившего за пятнадцать верст, находившегося при нем «пана органиста», местного

урядника и конторщика соседнего имения из отставных унтер-офицеров, но ничего из этого не вышло.

Потом я пробовал заняться лечением перебродских жителей. В моем распоряжении были: касторовое масло, карболка, борная кислота, йод. Но тут, помимо моих скудных сведений, я наткнулся на полную невозможность ставить диагнозы, потому что признаки болезни у всех моих пациентов были всегда одни и те же: «в серéдине болит» и «ни есть, ни пить не можу».

Приходит, например, ко мне старая баба. Вытерев со смущенным видом нос указательным пальцем правой руки, она достает из-за пазухи пару яиц, причем на секунду я вижу ее коричневую кожу, и кладет их на стол. Затем она начинает ловить мои руки, чтобы запечатлеть на них поцелуй. Я прячу руки и убеждаю старуху: «Да полно, бабка… оставь… я не поп… мне это не полагается… Что у тебя болит?»

— В серéдине у меня болит, панычу, в самой что ни на есть серéдине, так что даже ни пить, ни есть не можу.

— Давно это у тебя сделалось?

— А я знаю? — отвечает она также вопросом. — Так и печет и печет. Ни пить, ни есть не можу.

И сколько я не бьюсь, более определенных признаков болезни не находится.

— Да вы не беспокойтесь, — посоветовал мне однажды конторщик из унтеров, — сами вылечатся. Присохнет, как на собаке. Я, доложу вам, только одно лекарство употребляю — нашатырь. Приходит ко мне мужик. «Что тебе?» — «Я, говорит, больной»… Сейчас же ему под нос склянку нашатырного спирту. «Нюхай!» Нюхает… «Нюхай еще… сильнее!..» Нюхает… «Что, легче?» — «Як будто полегшало…» — «Ну, так и ступай с богом».

К тому же мне претило это целование рук (а иные так прямо падали в ноги и изо всех сил стремились облобызать мои сапоги). Здесь сказывалось вовсе не движение признательного сердца, а просто омерзительная привычка, привитая веками рабства и насилия. И я только удивлялся тому же самому конторщику из унтеров и уряднику, глядя, с какой невозмутимой важностью суют они в губы мужикам свои огромные красные лапы…

Мне оставалась только охота. Но в конце января наступила такая погода, что и охотиться стало невозможно. Каждый день дул страшный ветер, а за ночь на снегу образовывался твердый, льдистый слой наста, по которому заяц пробегал,

не оставляя следов. Сидя взаперти и прислушиваясь к вою ветра, я тосковал страшно. Понятно, я ухватился с жадностью за такое невинное развлечение, как обучение грамоте полесовщика Ярмолы.

Началось это, впрочем, довольно оригинально. Я однажды писал письмо и вдруг почувствовал, что кто-то стоит за моей спиной. Обернувшись, я увидел Ярмолу, подошедшего, как и всегда, беззвучно в своих мягких лаптях.

— Что тебе, Ярмола? — спросил я.

— Да вот дивлюсь, как вы пишете. Вот бы мне так… Нет, нет… не так, как вы, — смущенно заторопился он, видя, что я улыбаюсь… — Мне бы только мое фамилие…

— Зачем это тебе? — удивился я… (Надо заметить, что Ярмола считается самым бедным и самым ленивым мужиком во всем Переброде; жалованье и свой крестьянский заработок он пропивает; таких плохих волов, как у него, нет нигде в окрестности. По моему мнению, ему-то уж ни в каком случае не могло понадобиться знание грамоты.) Я еще раз спросил с сомнением: — Для чего же тебе надо уметь писать фамилию?

— А видите, какое дело, паныч, — ответил Ярмола необыкновенно мягко, — ни одного гра-

мотного нет у нас в деревне. Когда гумагу какую нужно подписать, или в волости дело, или что… никто не может… Староста печать только кладет, а сам не знает, что в ней напечатано… То хорошо было бы для всех, если бы кто умел расписаться.

Такая заботливость Ярмолы — заведомого браконьера, беспечного бродяги, с мнением которого никогда даже не подумал бы считаться сельский сход, — такая заботливость его об общественном интересе родного села почему-то растрогала меня. Я сам предложил давать ему уроки. И что же это была за тяжкая работа — все мои попытки выучить его сознательному чтению и письму! Ярмола, знавший в совершенстве каждую тропинку своего леса, чуть ли не каждое дерево, умевший ориентироваться днем и ночью в каком угодно месте, различавший по следам всех окрестных волков, зайцев и лисиц — этот самый Ярмола никак не мог представить себе, почему, например, буквы «м» и «а» вместе составляют «ма». Обыкновенно над такой задачей он мучительно раздумывал минут десять, а то и больше, причем его смуглое худое лицо с впалыми черными глазами, все ушедшее в жесткую черную бороду и большие усы, выражало крайнюю степень умственного напряжения.

— Ну скажи, Ярмола, — «ма». Просто только скажи — «ма», — приставал я к нему. — Не гляди на бумагу, гляди на меня, вот так. Ну, говори — «ма»…

Тогда Ярмола глубоко вздыхал, клал на стол указку и произносил грустно и решительно:

— Нет… не могу…

— Как же не можешь? Это же ведь так легко. Скажи просто-напросто — «ма», вот как я говорю.

— Нет… не могу, паныч… забыл…

Все методы, приемы и сравнения разбивались об эту чудовищную непонятливость. Но стремление Ярмолы к просвещению вовсе не ослабевало.

— Мне бы только мою фамилию! — застенчиво упрашивал он меня. — Больше ничего не нужно. Только фамилию: Ярмола Попружук — и больше ничего.

Отказавшись окончательно от мысли выучить его разумному чтению и письму, я стал учить его подписываться механически. К моему великому удивлению, этот способ оказался наиболее доступным Ярмоле, так что к концу второго месяца мы уже почти осилили фамилию. Что же касается до имени, то его ввиду облегчения задачи мы решили совсем отбросить.

По вечерам, окончив топку печей, Ярмола с нетерпением дожидался, когда я позову его.

— Ну, Ярмола, давай учиться, — говорил я.

Он боком подходил к столу, облокачивался на него локтями, просовывал между своими черными, заскорузлыми, несгибающимися пальцами перо и спрашивал меня, подняв кверху брови:

— Писать?

— Пиши.

Ярмола довольно уверенно чертил первую букву — «П» (эта буква у нас носила название: «два стояка и сверху перекладина»); потом он смотрел на меня вопросительно.

— Что ж ты не пишешь? Забыл?

— Забыл… — досадливо качал головой Ярмола.

— Эх, какой ты! Ну, ставь колесо.

— А-а! Колесо, колесо!.. Знаю… — оживлялся Ярмола и старательно рисовал на бумаге вытянутую вверх фигуру, весьма похожую очертаниями на Каспийское море. Окончивши этот труд, он некоторое время молча любовался им, наклоняя голову то на левый, то на правый бок и щуря глаза.

— Что же ты стал? Пиши дальше.

— Подождите немного, панычу… сейчас.

Минуты две он размышлял и потом робко спра-

шивал:

— Так же, как первая?

— Верно. Пиши.

Так мало-помалу мы добрались до последней буквы — «к» (твердый знак мы отвергли), которая была у нас известна как «палка, а посредине палки кривуля хвостом набок».

— А что вы думаете, панычу, — говорил иногда Ярмола, окончив свой труд и глядя на него с любовной гордостью, — если бы мне еще месяцев с пять или шесть поучиться, я бы совсем хорошо знал. Как вы скажете?

II

Ярмола сидел на корточках перед заслонкой, перемешивая в печке уголья, а я ходил взад и вперед по диагонали моей комнаты. Из всех двенадцати комнат огромного помещичьего дома я занимал только одну, бывшую диванную. Другие стояли запертыми на ключ, и в них неподвижно и торжественно плесневела старинная штофная мебель, диковинная бронза и портреты XVIII столетия.

Ветер за стенами дома бесился, как старый озябший голый дьявол. В его реве слышались стоны, визг и дикий смех. Метель к вечеру расходилась еще сильнее. Снаружи кто-то яростно бросал в стекла окон горсти мелкого сухого снега. Недалекий лес роптал и гудел с непрерывной, затаенной, глухой угрозой…

Ветер забирался в пустые комнаты и в печные воющие трубы, и старый дом, весь расшатанный, дырявый, полуразвалившийся, вдруг оживлялся странными звуками, к которым я прислушивался с невольной тревогой. Вот точно вздохнуло что-то в белой зале, вздохнуло глубоко, прерывисто, пе-

чально. Вот заходили и заскрипели где-то далеко высохшие гнилые половицы под чьими-то тяжелыми и бесшумными шагами. Чудится мне затем, что рядом с моей комнатой, в коридоре, кто-то осторожно и настойчиво нажимает на дверную ручку и потом, внезапно разъярившись, мчится по всему дому, бешено потрясая всеми ставнями и дверьми, или, забравшись в трубу, скулит так жалобно, скучно и непрерывно, то поднимая все выше, все тоньше свой голос, до жалобного визга, то опуская его вниз, до звериного рычанья. Порою бог весть откуда врывался этот страшный гость и в мою комнату, пробегал внезапным холодом у меня по спине и колебал пламя лампы, тускло светившей под зеленым бумажным, обгоревшим сверху абажуром.

На меня нашло странное, неопределенное беспокойство. Вот, думалось мне, сижу я глухой и ненастной зимней ночью в ветхом доме, среди деревни, затерявшейся в лесах и сугробах, в сотнях верст от городской жизни, от общества, от женского смеха, от человеческого разговора… И начинало мне представляться, что годы и десятки лет будет тянуться этот ненастный вечер, будет тянуться вплоть до моей смерти, и так же будет реветь за окнами ветер, так же тускло будет

гореть лампа под убогим зеленым абажуром, так же тревожно буду ходить я взад и вперед по моей комнате, так же будет сидеть около печки молчаливый, сосредоточенный Ярмола — странное, чуждое мне существо, равнодушное ко всему на свете: и к тому, что у него дома в семье есть нечего, и к бушеванию ветра, и к моей неопределенной, разъедающей тоске.

Мне вдруг нестерпимо захотелось нарушить это томительное молчание каким-нибудь подобием человеческого голоса, и я спросил:

— Как ты думаешь, Ярмола, откуда это сегодня такой ветер?

— Ветер? — отозвался Ярмола, лениво подымая голову. — А паныч разве не знает?

— Конечно, не знаю. Откуда же мне знать?

— И вправду, не знаете? — оживился вдруг Ярмола. — Это я вам скажу, — продолжал он с таинственным оттенком в голосе, — это я вам скажу: чи ведьмака народилась, чи ведьмак веселье справляет.

— Ведьмака — это колдунья по-вашему?

— А так, так… колдунья.

Я с жадностью накинулся на Ярмолу. «Почем знать, — думал я, — может быть, сейчас же мне удастся выжать из него какую-нибудь инте-

ресную историю, связанную с волшебством, с зарытыми кладами, с вовкулаками?..»

— Ну, а у вас здесь, на Полесье, есть ведьмы? — спросил я.

— Не знаю… Может, есть, — ответил Ярмола с прежним равнодушием и опять нагнулся к печке. — Старые люди говорят, что были когда-то… Может, и неправда…

Я сразу разочаровался. Характерной чертой Ярмолы была упорная несловоохотливость, и я уж не надеялся добиться от него ничего больше об этом интересном предмете. Но, к моему удивлению, он вдруг заговорил с ленивой небрежностью и как будто бы обращаясь не ко мне, а к гудевшей печке:

— Была у нас лет пять тому назад такая ведьма… Только ее хлопцы с села прогнали!

— Куда же они ее прогнали?

— Куда!.. Известно, в лес… Куда же еще? И хату ее сломали, чтобы от того проклятого кубла и щепок не осталось… А саму ее вывели за вышницы и по шее.

— За что же так с ней обошлись?

— Вреда от нее много было, ссорилась со всеми, зелье под хаты подливала, закрутки вязала в жите… Один раз просила она у нашей молодицы

злот (пятнадцать копеек). Та ей говорит: «Нет у меня злота, отстань». — «Ну, добре, говорит, будешь ты помнить, как мне злотого не дала…» И что же вы думаете, панычу: с тех самых пор стало у молодицы дитя болеть. Болело, болело, да и совсем умерло. Вот тогда хлопцы ведьмаку и прогнали, пусть ей очи повылазят…

— Ну, а где же теперь эта ведьмака? — продолжал я любопытствовать.

— Ведьмака? — медленно переспросил, по своему обыкновению, Ярмола. — А я знаю?

— Разве у нее не осталось в деревне какой-нибудь родни?

— Нет, не осталось. Да она чужая была, из кацапок чи из цыганок… Я еще маленьким хлопцем был, когда она пришла к нам на село. И девочка с ней была: дочка или внучка… Обеих прогнали…

— А теперь к ней разве никто не ходит: погадать там или зелья какого-нибудь попросить?

— Бабы бегают, — пренебрежительно уронил Ярмола.

— Ага! Значит, все-таки известно, где она живет?

— Я не знаю… Говорят люди, что где-то около Бисова Кута она живет… Знаете — болото, что за Ириновским шляхом. Так вот в этом болоте она и

сидит, трясьця ее матери.

«Ведьма живет в каких-нибудь десяти верстах от моего дома… настоящая, живая, полесская ведьма!» Эта мысль сразу заинтересовала и взволновала меня.

— Послушай, Ярмола, — обратился я к полесовщику, — а как бы мне с ней познакомиться, с этой ведьмой?

— Тьфу! — сплюнул с негодованием Ярмола. — Вот еще добро нашли.

— Добро или недобро, а я к ней все равно пойду. Как только немного потеплеет, сейчас же и отправлюсь. Ты меня, конечно, проводишь?

Ярмолу так поразили последние слова, что он даже вскочил с полу.

— Я?! — воскликнул он с негодованием. — А и ни за что! Пусть оно там бог ведает что, а я не пойду.

— Ну вот, глупости, пойдешь.

— Нет, панычу, не пойду… ни за что не пойду… Чтобы я?! — опять воскликнул он, охваченный новым наплывом возмущения. — Чтобы я пошел до ведьмачьего кубла? Да пусть меня бог боронит. И вам не советую, паныч.

— Как хочешь… а я все-таки пойду. Мне очень любопытно на нее посмотреть.

— Ничего там нет любопытного, — пробурчал Ярмола, с сердцем захлопывая печную дверку.

Час спустя, когда он, уже убрав самовар и напившись в темных сенях чаю, собирался идти домой, я спросил:

— Как зовут эту ведьму?

— Мануйлиха, — ответил Ярмола с грубой мрачностью.

Он хотя и не высказывал никогда своих чувств, но, кажется, сильно ко мне привязался; привязался за нашу общую страсть к охоте, за мое простое обращение, за помощь, которую я изредка оказывал его вечно голодающей семье, а главным образом за то, что я один на всем свете не корил его пьянством, чего Ярмола терпеть не мог. Поэтому моя решимость познакомиться с ведьмой привела его в отвратительное настроение духа, которое он выразил только усиленным сопением да еще тем, что, выйдя на крыльцо, из всей силы ударил ногой в бок свою собаку — Рябчика. Рябчик отчаянно завизжал и отскочил в сторону, но тотчас же побежал вслед за Ярмолой, не переставая скулить.

III

Дня через три потеплело. Однажды утром, очень рано, Ярмола вошел в мою комнату и заявил небрежно:

— Нужно ружья почистить, паныч.

— А что? — спросил я, потягиваясь под одеялом.

— Заяц ночью сильно походил: следов много. Может, пойдем на пановку?

Я видел, что Ярмоле не терпится скорее пойти в лес, но он скрывает это страстное желание охотника под напускным равнодушием. Действительно, в передней уже стояла его одностволка, от которой не ушел еще ни один бекас, несмотря на то что вблизи дула она была украшена несколькими оловянными заплатами, положенными в тех местах, где ржавчина и пороховые газы проели железо.

Едва войдя в лес, мы тотчас же напали на заячий след: две лапки рядом и две позади, одна за другой. Заяц вышел на дорогу, прошел по ней сажен двести и сделал с дороги огромный прыжок в сосновый молодняк.

— Ну, теперь будем обходить его, — сказал Ярмола. — Как дал столба, так тут сейчас и ляжет. Вы, паныч, идите… — Он задумался, соображая по каким-то ему одному известным приметам, куда меня направить. — …Вы идите до старой корчмы. А я его обойду от Замлына. Как только собака его выгонит, я буду гукать вам.

И он тотчас же скрылся, точно нырнул в густую чащу мелкого кустарника. Я прислушался. Ни один звук не выдал его браконьерской походки, ни одна веточка не треснула под его ногами, обутыми в лыковые постолы.

Я неторопливо дошел до старой корчмы — нежилой, развалившейся хаты, и стал на опушке хвойного леса, под высокой сосной с прямым голым стволом. Было так тихо, как только бывает в лесу зимою в безветренный день. Нависшие на ветвях пышные комья снега давили их книзу, придавая им чудесный, праздничный и холодный вид. По временам срывалась с вершины тоненькая веточка, и чрезвычайно ясно слышалось, как она, падая, с легким треском задевала за другие ветви. Снег розовел на солнце и синел в тени. Мной овладело тихое очарование этого торжественного, холодного безмолвия, и мне казалось, что я чувствую, как время медленно и

бесшумно проходит мимо меня…

Вдруг далеко, в самой чаще, раздался лай Рябчика — характерный лай собаки, идущей за зверем: тоненький, заливчатый и нервный, почти переходящий в визг. Тотчас же услышал я и голос Ярмолы, кричавшего с ожесточением вслед собаке: «У — бый! У — бый!», первый слог — протяжным резким фальцетом, а второй — отрывистой басовой нотой (я только много времени спустя дознался, что этот охотничий полесский крик происходит от глагола «убивать»).

Мне казалось, судя по направлению лая, что собака гонит влево от меня, и я торопливо побежал через полянку, чтобы перехватить зверя. Но не успел я сделать и двадцати шагов, как огромный серый заяц выскочил из-за пня и, как будто не торопясь, заложив назад длинные уши, высокими, редкими прыжками перебежал через дорогу и скрылся в молодняке. Следом за ним стремительно вылетел Рябчик. Увидев меня, он слабо махнул хвостом, торопливо куснул несколько раз зубами снег и опять погнал зайца.

Ярмола вдруг так же бесшумно вынырнул из чащи.

— Что же вы, паныч, не стали ему на дороге? — крикнул он и укоризненно зачмокал языком.

— Да ведь далеко было… больше двухсот шагов.

Видя мое смущение, Ярмола смягчился.

— Ну, ничего… он от нас не уйдет. Идите на Ириновский шлях, — он сейчас туда выйдет.

Я пошел по направлению Ириновского шляха и уже через минуты две услыхал, что собака опять гонит где-то недалеко от меня. Охваченный охотничьим волнением, я побежал, держа ружье наперевес, сквозь густой кустарник, ломая ветви и не обращая внимания на их жестокие удары. Я бежал так довольно долго и уже стал задыхаться, как вдруг лай собаки прекратился. Я пошел тише. Мне казалось, что если я буду идти все прямо, то непременно встречусь с Ярмолой на Ириновском шляху. Но вскоре я убедился, что во время моего бега, огибая кусты и пни и совсем не думая о дороге, я заблудился. Тогда я начал кричать Ярмоле. Он не откликался.

Между тем машинально я шел все дальше, лес редел понемногу, почва опускалась и становилась кочковатой. След, оттиснутый на снегу моей ногой, быстро темнел и наливался водой. Несколько раз я уже проваливался по колена. Мне приходилось перепрыгивать с кочки на кочку; в покрывавшем их густом буром мху ноги тонули,

точно в мягком ковре.

Кустарник скоро совсем окончился. Передо мной было большое круглое болото, занесенное снегом, из-под белой пелены которого торчали редкие кочки. На противоположном конце болота, между деревьями, выглядывали белые стены какой-то хаты. «Вероятно, здесь живет ириновский лесник, — подумал я. — Надо зайти и расспросить у него дорогу».

Но дойти до хаты было не так-то легко. Каждую минуту я увязал в трясине. Сапоги мои набрали воды и при каждом шаге громко хлюпали; становилось невмочь тянуть их за собою.

Наконец я перебрался через это болото, взобрался на маленький пригорок и теперь мог хорошо рассмотреть хату. Это даже была не хата, а именно сказочная избушка на курьих ножках. Она не касалась полом земли, а была построена на сваях, вероятно, ввиду половодья, затопляющего весною весь Ириновский лес. Но одна сторона ее от времени осела, и это придавало избушке хромой и печальный вид. В окнах недоставало нескольких стекол; их заменили какие-то грязные ветошки, выпиравшиеся горбом наружу.

Я нажал на клямку и отворил дверь. В хате было очень темно, а у меня, после того как я долго

глядел на снег, ходили перед глазами фиолетовые круги; поэтому я долго не мог разобрать, есть ли кто-нибудь в хате.

— Эй, добрые люди, кто из вас дома? — спросил я громко.

Около печки что-то завозилось. Я подошел поближе и увидал старуху, сидевшую на полу. Перед ней лежала огромная куча куриных перьев. Старуха брала отдельно каждое перо, сдирала с него бородку и клала пух в корзинку, а стержни бросала прямо на землю.

«Да ведь это — Мануйлиха, ириновская ведьма», — мелькнуло у меня в голове, едва я только повнимательнее вгляделся в старуху. Все черты бабы-яги, как ее изображает народный эпос, были налицо: худые щеки, втянутые внутрь, переходили внизу в острый, длинный дряблый подбородок, почти соприкасавшийся с висящим вниз носом; провалившийся беззубый рот беспрестанно двигался, точно пережевывая что-то; выцветшие, когда-то голубые глаза, холодные, круглые, выпуклые, с очень короткими красными веками, глядели, точно глаза невиданной зловещей птицы.

— Здравствуй, бабка! — сказал я как можно приветливее. — Тебя уж не Мануйлихой ли зовут?

В ответ что-то заклокотало и захрипело в груди у старухи; потом из ее беззубого, шамкающего рта вырвались странные звуки, то похожие на задыхающееся карканье старой вороны, то вдруг переходившие в сиплую обрывающуюся фистулу:

— Прежде, может, и Мануйлихой звали добрые люди… А теперь зовут зовуткой, а величают уткой. Тебе что надо-то? — спросила она недружелюбно и не прекращая своего однообразного занятия.

— Да вот, бабушка, заблудился я. Может, у тебя молоко найдется?

— Нет молока, — сердито отрезала старуха. — Много вас по лесу ходит… Всех не напоишь, не накормишь…

— Ну, бабушка, неласковая же ты до гостей.

— И верно, батюшка: совсем неласковая. Разносолов для вас не держим. Устал — посиди, никто тебя из хаты не гонит. Знаешь, как в пословице говорится: «Приходите к нам на завалинке посидеть, у нашего праздника звона послушать, а обедать к вам мы и сами догадаемся». Так-то вот…

Эти обороты речи сразу убедили меня, что старуха действительно пришлая в этом крае;

здесь не любят и не понимают хлесткой, уснащенной редкими словцами речи, которой так охотно щеголяет краснобай-северянин. Между тем старуха, продолжая механически свою работу, все еще бормотала что-то себе под нос, но все тише и невнятнее. Я разбирал только отдельные слова, не имевшие между собой никакой связи: «Вот тебе и бабушка Мануйлиха… А кто такой — неведомо… Лета-то мои не маленькие… Ногами егозит, стрекочит, сокочит — чистая сорока…»

Я некоторое время молча прислушивался, и внезапная мысль, что передо мною сумасшедшая женщина, вызвала у меня ощущение брезгливого страха.

Однако я успел осмотреться вокруг себя. Бóльшую часть избы занимала огромная облупившаяся печка. Образов в переднем углу не было. По стенам, вместо обычных охотников с зелеными усами и фиолетовыми собаками и портретов никому не ведомых генералов, висели пучки засушенных трав, связки сморщенных корешков и кухонная посуда. Ни совы, ни черного кота я не заметил, но зато с печки два рябых солидных скворца глядели на меня с удивленным и недоверчивым видом.

— Бабушка, а воды-то у вас, по крайней мере,

можно напиться? — спросил я, возвышая голос.

— А вон в кадке, — кивнула головой старуха.

Вода отзывала болотной ржавчиной. Поблагодарив старуху (на что она не обратила ни малейшего внимания), я спросил ее, как мне выйти на шлях.

Она вдруг подняла голову, поглядела на меня пристально своими холодными, птичьими глазами и забормотала торопливо:

— Иди, иди… Иди, молодец, своей дорогой. Нечего тут тебе делать. Хорош гость в гостинку… Ступай, батюшка, ступай…

Мне действительно ничего больше не оставалось, как уйти. Но вдруг мне пришло в голову попытать последнее средство, чтобы хоть немного смягчить суровую старуху. Я вынул из кармана новый серебряный четвертак и протянул его Мануйлихе. Я не ошибся: при виде денег старуха зашевелилась, глаза ее раскрылись еще больше, и она потянулась за монетой своими скрюченными, узловатыми, дрожащими пальцами.

— Э, нет, бабка Мануйлиха, даром не дам, — поддразнил я ее, пряча монету. — Ну-ка, погадай мне.

Коричневое сморщенное лицо колдуньи собралось в недовольную гримасу. Она, по-видимому,

колебалась и нерешительно глядела на мой кулак, где были зажаты деньги. Но жадность взяла верх.

— Ну, ну, пойдем, что ли, пойдем, — прошамкала она, с трудом подымаясь с полу. — Никому я не ворожу теперь, касатик. Забыла… Стара стала, глаза не видят. Только для тебя разве.

Держась за стену, сотрясаясь на каждом шагу сгорбленным телом, она подошла к столу, достала колоду бурых, распухших от времени карт, стасовала их и придвинула ко мне.

— Сыми-ка… Левой ручкой сыми… От сердца…

Поплевав на пальцы, она начала раскладывать кабалу. Карты падали на стол с таким звуком, как будто бы они были сваляны из теста, и укладывались в правильную восьмиконечную звезду. Когда последняя карта легла рубашкой вверх на короля, Мануйлиха протянула ко мне руку.

— Позолоти, барин хороший… Счастлив будешь, богат будешь… — запела она попрошайническим, чисто цыганским тоном.

Я сунул ей приготовленную монету. Старуха проворно, по-обезьяньи спрятала ее за щеку.

— Большой интерес тебе выходит через дальнюю дорогу, — начала она привычной скороговоркой. — Встреча с бубновой дамой и какой-то

приятный разговор в важном доме. Вскорости получишь неожиданное известие от трефового короля. Падают тебе какие-то хлопоты, а потом опять падают какие-то небольшие деньги. Будешь в большой компании, пьян будешь… Не так чтобы очень сильно, а все-таки выходит тебе выпивка. Жизнь твоя будет долгая. Если в шестьдесят лет не умрешь, то…

Вдруг она остановилась, подняла голову, точно к чему-то прислушиваясь. Я тоже насторожился. Чей-то женский голос, свежий, звонкий и сильный, пел, приближаясь к хате. Я тоже узнал слова грациозной малорусской песенки:

Ой чи цвит, чи не цвит
Калиноньку ломит.
Ой чи сон, чи не сон
Головоньку клонит.

— Ну иди, иди теперь, соколик, — тревожно засуетилась старуха, отстраняя меня рукой от стола. — Нечего тебе по чужим хатам околачиваться. Иди, куда шел…

Она даже ухватила меня за рукав моей куртки и тянула к двери. Лицо ее выражало какое-то звериное беспокойство.

Голос, певший песню, вдруг оборвался совсем

близко около хаты, громко звякнула железная клямка, и в просвете быстро распахнувшейся двери показалась рослая смеющаяся девушка. Обеими руками она бережно поддерживала полосатый передник, из которого выглядывали три крошечные головки с красными шейками и черными блестящими глазенками.

— Смотри, бабушка, зяблики опять за мной увязались, — воскликнула она, громко смеясь, — посмотри, какие смешные… Голодные совсем. А у меня, как нарочно, хлеба с собой не было.

Но, увидев меня, она вдруг замолчала и вспыхнула густым румянцем. Ее топкие черные брови недовольно сдвинулись, а глаза с вопросом обратились на старуху.

— Вот барин зашел… Пытает дорогу, — пояснила старуха. — Ну, батюшка, — с решительным видом обернулась она ко мне, — будет тебе прохлаждаться. Напился водицы, поговорил, да пора и честь знать. Мы тебе не компания…

— Послушай, красавица, — сказал я девушке. — Покажи мне, пожалуйста, дорогу на Ириновский шлях, а то из вашего болота во веки веков не выберешься.

Должно быть, на нее подействовал мягкий, просительный тон, который я придал этим сло-

вам. Она бережно посадила на печку, рядом со скворцами, своих зябликов, бросила на лавку скинутую уже короткую свитку и молча вышла из хаты.

Я последовал за ней.

— Это у тебя все ручные птицы? — спросил я, догоняя девушку.

— Ручные, — ответила она отрывисто и даже не взглянув на меня. — Ну вот, глядите, — сказала она, останавливаясь у плетня. — Видите тропочку, вон, вон, между соснами-то? Видите?

— Вижу…

— Идите по ней все прямо. Как дойдете до дубовой колоды, повернете налево. Так прямо, все лесом, лесом и идите. Тут сейчас вам и будет Ириновский шлях.

В то время когда она вытянутой правой рукой показывала мне направление дороги, я невольно залюбовался ею. В ней не было ничего похожего на местных «дивчат», лица которых под уродливыми повязками, прикрывающими сверху лоб, а снизу рот и подбородок, носят такое однообразное, испуганное выражение. Моя незнакомка, высокая брюнетка лет около двадцати — двадцати пяти, держалась легко и стройно. Просторная белая рубаха свободно и красиво обвивала ее

молодую, здоровую грудь. Оригинальную красоту ее лица, раз его увидев, нельзя было позабыть, но трудно было, даже привыкнув к нему, его описать. Прелесть его заключалась в этих больших, блестящих, темных глазах, которым тонкие, надломленные посредине брови придавали неуловимый оттенок лукавства, властности и наивности; в смугло-розовом тоне кожи, в своевольном изгибе губ, из которых нижняя, несколько более полная, выдавалась вперед с решительным и капризным видом.

— Неужели вы не боитесь жить одни в такой глуши? — спросил я, остановившись у забора.

Она равнодушно пожала плечами.

— Чего же нам бояться? Волки сюда не заходят.

— Да разве волки одни… Снегом вас занести может, пожар может случиться… И мало ли что еще. Вы здесь одни, вам и помочь никто не успеет.

— И слава богу! — махнула она пренебрежительно рукой. — Как бы нас с бабкой вовсе в покое оставили, так лучше бы было, а то…

— А то что?

— Много будете знать, скоро состаритесь, — отрезала она. — Да вы сами-то кто будете? — спросила она тревожно.

Я догадался, что, вероятно, и старуха и эта краса-

вица боятся каких-нибудь утеснений со стороны «предержащих», и поспешил ее успокоить:

— О! Ты, пожалуйста, не тревожься. Я не урядник, не писарь, не акцизный, словом — я никакое начальство.

— Нет, вы правду говорите?

— Даю тебе честное слово. Ей-богу, я самый посторонний человек. Просто приехал сюда погостить на несколько месяцев, а там и уеду. Если хочешь, я даже никому не скажу, что был здесь и видел вас. Ты мне веришь?

Лицо девушки немного прояснилось.

— Ну, значит, коль не врете, так правду говорите. А вы как: раньше об нас слышали или сами зашли?

— Да я и сам не знаю, как тебе сказать… Слышать-то я слышал, положим, и даже хотел когда-нибудь забрести к вам, а сегодня зашел случайно — заблудился… Ну, а теперь скажи, чего вы людей боитесь? Что они вам злого делают?

Она поглядела на меня с испытующим недоверием. Но совесть у меня была чиста, и я, не сморгнув, выдержал этот пристальный взгляд. Тогда она заговорила с возрастающим волнением:

— Плохо нам от них приходится… Простые люди еще ничего, а вот начальство… Приедет

урядник — тащит, приедет становой — тащит. Да еще прежде, чем взять-то, над бабкой надругается: ты, говорят, ведьма, чертовка, каторжница… Эх! Да что и говорить!

— А тебя не трогают? — сорвался у меня неосторожный вопрос.

Она с надменной самоуверенностью повела головой снизу вверх, и в ее сузившихся глазах мелькнуло злое торжество…

— Не трогают… Один раз сунулся ко мне землемер какой-то… Поласкаться ему, видишь, захотелось… Так, должно быть, и до сих пор не забыл, как я его приласкала.

В этих насмешливых, но своеобразно гордых словах прозвучало столько грубой независимости, что я невольно подумал: «Однако недаром ты выросла среди полесского бора, — с тобой и впрямь опасно шутить».

— А мы разве трогаем кого-нибудь! — продолжала она, проникаясь ко мне все большим доверием. — Нам и людей не надо. Раз в год только схожу я в местечко купить мыла да соли… Да вот еще бабушке чаю, — чай она у меня любит. А то хоть бы и вовсе никого не видеть.

— Ну, я вижу, вы с бабушкой людей не жалуете… А мне можно когда-нибудь зайти на минуточку?

Она засмеялась, и — как странно, как неожиданно изменилось ее красивое лицо! Прежней суровости в нем и следа не осталось: оно вдруг сделалось светлым, застенчивым, детским.

— Да что у нас вам делать? Мы с бабкой скучные… Что ж, заходите, пожалуй, коли вы и впрямь добрый человек. Только вот что… вы уж если когда к нам забредете, так без ружья лучше…

— Ты боишься?

— Чего мне бояться? Ничего я не боюсь. — И в ее голосе опять послышалась уверенность в своей силе. — А только не люблю я этого. Зачем бить пташек или вот зайцев тоже? Никому они худого не делают, а жить им хочется так же, как и нам с вами. Я их люблю: они маленькие, глупые такие… Ну, однако, до свидания, — заторопилась она, — не знаю, как величать-то вас по имени… Боюсь, бабка браниться станет.

И она легко и быстро побежала в хату, наклонив вниз голову и придерживая руками разбившиеся от ветра волосы.

— Постой, постой! — крикнул я. — Как тебя зовут-то? Уж будем знакомы как следует.

Она остановилась на мгновение и обернулась ко мне.

— Аленой меня зовут… По-здешнему — Олеся.

Я вскинул ружье на плечи и пошел по указанному мне направлению. Поднявшись на небольшой холмик, откуда начиналась узкая, едва заметная лесная тропинка, я оглянулся. Красная юбка Олеси, слегка колеблемая ветром, еще виднелась на крыльце хаты, выделяясь ярким пятном на ослепительно-белом, ровном фоне снега.

Через час после меня пришел домой Ярмола. По своей обычной неохоте к праздному разговору, он ни слова не спросил меня о том, как и где я заблудился. Он только сказал как будто бы вскользь:

— Там… я зайца на кухню занес… жарить будем или пошлете кому-нибудь?

— А ведь ты не знаешь, Ярмола, где я был сегодня? — сказал я, заранее представляя себе удивление полесовщика.

— Отчего же мне не знать? — грубо проворчал Ярмола. — Известно, к ведьмакам ходили…

— Как же ты узнал это?

— А почему же мне не узнать? Слышу, что вы голоса не подаете, ну я и вернулся на ваш след… Эх, паны-ыч! — прибавил он с укоризненной досадой. — Не следовает вам такими делами заниматься… Грех!..

IV

Весна наступила в этом году ранняя, дружная и — как всегда на Полесье — неожиданная. Побежали по деревенским улицам бурливые, коричневые, сверкающие ручейки, сердито пенясь вокруг встречных каменьев и быстро вертя щепки и гусиный пух; в огромных лужах воды отразилось голубое небо с плывущими по нему круглыми, точно крутящимися, белыми облаками; с крыш посыпались частые звонкие капли. Воробьи, стаями обсыпавшие придорожные ветлы, кричали так громко и возбужденно, что ничего нельзя было расслышать за их криком. Везде чувствовалась радостная, торопливая тревога жизни.

Снег сошел, оставшись еще кое-где грязными рыхлыми клочками в лощинах и тенистых перелесках. Из-под него выглянула обнаженная, мокрая, теплая земля, отдохнувшая за зиму и теперь полная свежих соков, полная жажды нового материнства. Над черными нивами вился легкий парок, наполнявший воздух запахом оттаявшей земли, — тем свежим, вкрадчивым и могучим

пьяным запахом весны, который даже и в городе узнаешь среди сотен других запахов. Мне казалось, что вместе с этим ароматом вливалась в мою душу весенняя грусть, сладкая и нежная, исполненная беспокойных ожиданий и смутных предчувствий, — поэтическая грусть, делающая в ваших глазах всех женщин хорошенькими и всегда приправленная неопределенными сожалениями о прошлых вёснах. Ночи стали теплее; в их густом влажном мраке чувствовалась незримая спешная творческая работа природы…

В эти весенние дни образ Олеси не выходил из моей головы. Мне нравилось, оставшись одному, лечь, зажмурить глаза, чтобы лучше сосредоточиться, и беспрестанно вызывать в своем воображении ее то суровое, то лукавое, то сияющее нежной улыбкой лицо, ее молодое тело, выросшее в приволье старого бора так же стройно и так же могуче, как растут молодые елочки, ее свежий голос, с неожиданными низкими бархатными нотками… «Во всех ее движениях, в ее словах, — думал я, — есть что-то благородное (конечно, в лучшем смысле этого довольно пошлого слова), какая-то врожденная изящная умеренность…» Также привлекал меня к Олесе и некоторый ореол окружавшей ее таинствен-

ности, суеверная репутация ведьмы, жизнь в лесной чаще среди болота и в особенности — эта гордая уверенность в свои силы, сквозившая в немногих обращенных ко мне словах.

Нет ничего мудреного, что, как только немного просохли лесные тропинки, я отправился в избушку на курьих ножках. На случай если бы понадобилось успокоить ворчливую старуху, я захватил с собою полфунта чаю и несколько пригоршен кусков сахару.

Я застал обеих женщин дома. Старуха возилась около ярко пылавшей печи, а Олеся пряла лен, сидя на очень высокой скамейке; когда я, входя, стукнул дверь, она обернулась, нитка оборвалась под ее руками, и веретено покатилось по полу.

Старуха некоторое время внимательно и сердито вглядывалась в меня, сморщившись и заслоняя лицо ладонью от жара печки.

— Здравствуй, бабуся! — сказал я громким, бодрым голосом. — Не узнаешь, должно быть, меня? Помнишь, я в прошлом месяце заходил про дорогу спрашивать? Ты мне еще гадала?

— Ничего не помню, батюшка, — зашамкала старуха, недовольно тряся головой, — ничего не помню. И что ты у нас позабыл — никак не пойму. Что мы тебе за компания? Мы люди простые,

серые… Нечего тебе у нас делать. Лес велик, есть место, где разойтись… так-то…

Ошеломленный нелюбезным приемом, я совсем потерялся и очутился в том глупом положении, когда не знаешь, что делать: обратить ли грубость в шутку, или самому рассердиться, или, наконец, не сказав ни слова, повернуться и уйти назад. Невольно я повернулся с беспомощным выражением к Олесе. Она чуть-чуть улыбнулась с оттенком незлой насмешки, встала из-за прялки и подошла к старухе.

— Не бойся, бабка, — сказала она примирительно, — это не лихой человек, он нам худого не сделает. Милости просим садиться, — прибавила она, указывая мне на лавку в переднем углу и не обращая более внимания на воркотню старухи.

Ободренный ее вниманием, я догадался выдвинуть самое решительное средство.

— Какая же ты сердитая, бабуся… Чуть гости на порог, а ты сейчас и бранишься. А я было тебе гостинцу принес, — сказал я, доставая из сумки свои свертки.

Старуха бросила быстрый взгляд на свертки, но тотчас же отвернулась к печке.

— Никаких мне твоих гостинцев не нужно, — проворчала она, ожесточенно разгребая кочергой

уголья. — Знаем мы тоже гостей этих. Сперва без мыла в душу лезут, а потом… Что у тебя в кулечке-то? — вдруг обернулась она ко мне.

Я тотчас же вручил ей чай и сахар. Это подействовало на старуху смягчающим образом, и хотя она и продолжала ворчать, но уже не в прежнем, непримиримом тоне.

Олеся села опять за пряжу, а я поместился около нее на низкой, короткой и очень шаткой скамеечке. Левой рукой Олеся быстро сучила белую, мягкую, как шелк, кудель, а в правой у нее с легким жужжанием крутилось веретено, которое она то пускала падать почти до земли, то ловко подхватывала его и коротким движением пальцев опять заставляла вертеться. Эта работа, такая простая на первый взгляд, но, в сущности, требующая огромного, многовекового навыка и ловкости, так и кипела в ее руках. Невольно я обратил внимание на эти руки: они загрубели и почернели от работы, но были невелики и такой красивой формы, что им позавидовали бы многие благовоспитанные девицы.

— А вот вы мне тогда не сказали, что вам бабка гадала, — произнесла Олеся. И, видя, что я опасливо обернулся назад, она прибавила: — Ничего, ничего, она немного на ухо туга, не услышит. Она

только мой голос хорошо разбирает.

— Да, гадала. А что?

— Да так себе… Просто спрашиваю… А вы верите? — кинула она на меня украдкой быстрый взгляд.

— Чему? Тому, что твоя бабка мне гадала, или вообще?

— Нет, вообще…

— Как сказать, вернее будет, что не верю, а все-таки почем знать? Говорят, бывают случаи… Даже в умных книгах об них напечатано. А вот тому, что твоя бабка говорила, так совсем не верю. Так и любая баба деревенская сумеет поворожить.

Олеся улыбнулась.

— Да, это правда, что она теперь плохо гадает. Стара стала, да и боится она очень. А что вам карты сказали?

— Ничего интересного не было. Я теперь и не помню. Что обыкновенно говорят: дальняя дорога, трефовый интерес… Я и позабыл даже.

— Да, да, плохая она стала ворожка. Слова многие позабыла от старости… Куда ж ей? Да и опасается она. Разве только деньги увидит, так согласится.

— Чего же она боится?

— Известно чего, — начальства боится… Уряд-

ник приедет, так завсегда грозит: «Я, говорит, тебя во всякое время могу упрятать. Ты знаешь, говорит, что вашему брату за чародейство полагается? Ссылка в каторжную работу, без сроку, на Соколиный остров». Как вы думаете, врет он это или нет?

— Нет, врать он не врет; действительно за это что-то полагается, но уже не так страшно… Ну, а ты, Олеся, умеешь гадать?

Она как будто бы немного замялась, но всего лишь на мгновение.

— Гадаю… Только не за деньги, — добавила она поспешно.

— Может быть, ты и мне кинешь карты?

— Нет, — тихо, но решительно ответила она, покачав головой.

— Почему же ты не хочешь? Ну, не теперь, так когда-нибудь после… Мне почему-то кажется, что ты мне правду скажешь.

— Нет. Не стану. Ни за что не стану.

— Ну, уж это нехорошо, Олеся. Ради первого знакомства нельзя отказывать… Почему ты не согласна?

— Потому что я на вас уже бросала карты, в другой раз нельзя…

— Нельзя? Отчего же? Я этого не понимаю.

— Нет, нет, нельзя… нельзя… — зашептала она с суеверным страхом. — Судьбу нельзя два раза пытать… Не годится… Она узнает, подслушает… Судьба не любит, когда ее спрашивают. Оттого все ворожки несчастные.

Я хотел ответить Олесе какой-нибудь шуткой и не мог: слишком много искреннего убеждения было в ее словах, так что даже, когда она, упомянув про судьбу, со странной боязнью оглянулась на дверь, я невольно повторил это движение.

— Ну, если не хочешь мне погадать, так расскажи, что у тебя тогда вышло? — попросил я.

Олеся вдруг бросила прялку и притронулась рукой к моей руке.

— Нет… Лучше не надо, — сказала она, и ее глаза приняли умоляюще-детское выражение. — Пожалуйста, не просите… Нехорошо вам вышло… Не просите лучше…

Но я продолжал настаивать. Я не мог разобрать: был ли ее отказ и темные намеки на судьбу наигранным приемом гадалки, или она действительно сама верила в то, о чем говорила, но мне стало как-то не по себе, почти жутко.

— Ну хорошо, я, пожалуй, скажу, — согласилась наконец Олеся. — Только смотрите, уговор лучше денег: не сердиться, если вам что не понравится.

Вышло вам вот что: человек вы хотя и добрый, но только слабый… Доброта ваша не хорошая, не сердечная. Слову вы своему не господин. Над людьми любите верх брать, а сами им хотя и не хотите, но подчиняетесь. Вино любите, а также… Ну да все равно, говорить, так уже все по порядку… До нашей сестры больно охочи, и через это вам много в жизни будет зла… Деньгами вы не дорожите и копить их не умеете — богатым никогда не будете… Говорить дальше?

— Говори, говори! Все, что знаешь, говори!

— Дальше вышло, что жизнь ваша будет невеселая. Никого вы сердцем не полюбите, потому что сердце у вас холодное, ленивое, а тем, которые вас будут любить, вы много горя принесете. Никогда вы не женитесь, так холостым и умрете. Радостей вам в жизни больших не будет, но будет много скуки и тяготы… Настанет такое время, что руки сами на себя наложить захотите… Такое у вас дело одно выйдет… Но только не посмеете, так снесете… Сильную нужду будете терпеть, однако под конец жизни судьба ваша переменится через смерть какого-то близкого вам человека и совсем для вас неожиданно. Только все это будет еще через много лет, а вот в этом году… Я не знаю, уж когда именно, — карты говорят, что очень скоро…

Может быть, даже и в этом месяце…

— Что же случится в этом году? — спросил я, когда она опять остановилась.

— Да уж боюсь даже говорить дальше. Падает вам большая любовь со стороны какой-то трефовой дамы. Вот только не могу догадаться, замужняя она иди девушка, а знаю, что с темными волосами…

Я невольно бросил быстрый взгляд на голову Олеси.

— Что вы смотрите? — покраснела вдруг она, почувствовав мой взгляд с пониманием, свойственным некоторым женщинам. — Ну да, вроде моих, — продолжала она, машинально поправляя волосы и еще больше краснея.

— Так ты говоришь — большая трефовая любовь? — шутил я.

— Не смейтесь, не надо смеяться, — серьезно, почти строго, заметила Олеся. — Я вам все только правду говорю.

— Ну хорошо, не буду, не буду. Что же дальше?

— Дальше… Ох! Нехорошо выходит этой трефовой даме, хуже смерти. Позор она через вас большой примет, такой, что во всю жизнь забыть нельзя, печаль долгая ей выходит… А вам в ее планете ничего дурного не выходит.

— Послушай, Олеся, а не могли ли тебя карты обмануть? Зачем же я буду трефовой даме столько неприятностей делать? Человек я тихий, скромный, а ты столько страхов про меня наговорила.

— Ну, уж этого я не знаю. Да и вышло-то так, что не вы это сделаете, — не нарочно, значит, а только через вас вся эта беда стрясется… Вот когда мои слова сбудутся, вы меня тогда вспомните.

— И все это тебе карты сказали, Олеся?

Она ответила не сразу, уклончиво и как будто бы неохотно:

— И карты… Да я и без них узнаю много, вот хоть бы по лицу. Если, например, который человек должен скоро нехорошей смертью умереть, я это сейчас у него на лице прочитаю, даже говорить мне с ним не нужно.

— Что же ты видишь у него в лице?

— Да я и сама не знаю. Страшно мне вдруг сделается, точно он неживой передо мной стоит. Вот хоть у бабушки спросите, она вам скажет, что я правду говорю. Трофим, мельник, в позапрошлом году у себя на млине удавился, а я его только за два дня перед тем видела и тогда же сказала бабушке: «Вот посмотри, бабуся, что Трофим на днях дурной смертью умрет». Так оно и вышло. А на прошлые святки зашел к нам конокрад Яшка,

просил бабушку погадать. Бабушка разложила на него карты, стала ворожить. А он шутя спрашивает: «Ты мне скажи, бабка, какой я смертью умру?» А сам смеется. Я как поглядела на него, так и пошевельнуться не могу: вижу, сидит Яков, а лицо у него мертвое, зеленое… Глаза закрыты, а губы черные… Потом, через неделю, слышим, что поймали мужики Якова, когда он лошадей хотел свести… Всю ночь его били… Злой у нас народ здесь, безжалостный… В пятки гвозди ему заколотили, перебили кольями все ребра; а к утру из него и дух вон.

— Отчего же ты ему не сказала, что его беда ждет?

— А зачем говорить? — возразила Олеся. — Что у судьбы положено, разве от этого убежишь? Только бы понапрасну человек свои последние дни тревожился… Да мне и самой гадко, что я так вижу, сама себе я противна делаюсь… Только что ж? Это ведь у меня от судьбы. Бабка моя, когда помоложе была, тоже смерть узнавала, и моя мать тоже, и бабкина мать — это не от нас… это в нашей крови так.

Она перестала прясть и сидела, низко опустив голову, тихо положив руки вдоль колен. В ее неподвижно остановившихся глазах с расширив-

шимися зрачками отразился какой-то темный ужас, какая-то невольная покорность таинственным силам и сверхъестественным знаниям, осенявшим ее душу.

V

В это время старуха разостлала на столе чистое полотенце с вышитыми концами и поставила на него дымящийся горшок.

— Иди ужинать, Олеся, — позвала она внучку и после минутного колебания прибавила, обращаясь ко мне, — может быть, и вы, господин, с нами откушаете? Милости просим… Только неважные у нас кушанья-то, супов не варим, а просто крупничок полевой…

Нельзя сказать, чтобы ее приглашение отзывалось особенной настойчивостью, и я уже было хотел отказаться от него, но Олеся, в свою очередь, попросила меня с такой милой простотой и с такой ласковой улыбкой, что я поневоле согласился. Она сама налила мне полную тарелку крупника — похлебки из гречневой крупы с салом, луком, картофелем и курицей — чрезвычайно вкусного и питательного кушанья. Садясь за стол, ни бабушка, ни внучка не перекрестились. За ужином я не переставал наблюдать за обеими женщинами, потому что, по моему глубокому убеждению, которое я и до сих пор

сохраняю, нигде человек не высказывается так ясно, как во время еды. Старуха глотала крупник с торопливой жадностью, громко чавкая и запихивая в рот огромные куски хлеба, так что под ее дряблыми щеками вздувались и двигались большие гули. У Олеси даже в манере есть была какая-то врожденная порядочность.

Спустя час после ужина я простился с хозяйками избушки на курьих ножках.

— Хотите, я вас провожу немножко? — предложила Олеся.

— Какие такие проводы еще выдумала! — сердито прошамкала старуха. — Не сидится тебе на месте, стрекоза…

Но Олеся уже накинула на голову красный кашемировый платок и вдруг, подбежав к бабушке, обняла ее и звонко поцеловала.

— Бабушка! Милая, дорогая, золотая… я только на минуточку, сейчас и назад.

— Ну ладно, уж ладно, верченая, — слабо отбивалась от нее старуха. — Вы, господин, не обессудьте: совсем дурочка она у меня.

Пройдя узкую тропинку, мы вышли на лесную дорогу, черную от грязи, всю истоптанную следами копыт и изборожденную колеями, полными воды, в которой отражался пожар вечерней

зари. Мы шли обочиной дороги, сплошь покрытой бурыми прошлогодними листьями, еще не высохшими после снега. Кое-где сквозь их мертвую желтизну подымали свои лиловые головки крупные колокольчики «сна» — первого цветка Полесья.

— Послушай, Олеся, — начал я, — мне очень хочется спросить тебя кое о чем, да я боюсь, что ты рассердишься… Скажи мне, правду ли говорят, что твоя бабка… как бы это выразиться?..

— Колдунья? — спокойно помогла мне Олеся.

— Нет… Не колдунья… — замялся я. — Ну да, если хочешь — колдунья… Конечно, ведь мало ли что болтают… Почему ей просто-напросто не знать каких-нибудь трав, средств, заговоров?.. Впрочем, если тебе это неприятно, ты можешь не отвечать.

— Нет, отчего же, — отозвалась она просто, — что ж тут неприятного? Да, она, правда, колдунья. Но только теперь она стала стара и уж не может делать того, что делала раньше.

— Что же она умела делать? — полюбопытствовал я.

— Разное. Лечить умела, от зубов пользовала, руду заговаривала, отчитывала, если кого бешеная собака укусит или змея, клады указывала…

да всего и не перечислишь.

— Знаешь что, Олеся?.. Ты меня извини, а я ведь этому всему не верю. Ну, будь со мною откровенна, я тебя никому не выдам: ведь все это — одно притворство, чтобы только людей морочить?

Она равнодушно пожала плечами.

— Думайте, как хотите. Конечно, бабу деревенскую обморочить ничего не стоит, но вас бы я не стала обманывать.

— Значит, ты твердо веришь колдовству?

— Да как же мне не верить? Ведь у нас в роду чары… Я и сама многое умею.

— Олеся, голубушка… Если бы ты знала, как мне это интересно… Неужели ты мне ничего не покажешь?

— Отчего же, покажу, если хотите, — с готовностью согласилась Олеся. — Сейчас желаете?

— Да, если можно, сейчас.

— А бояться не будете?

— Ну вот глупости. Ночью, может быть, боялся бы, а теперь еще светло.

— Хорошо. Дайте мне руку.

Я повиновался. Олеся быстро засучила рукав моего пальто и расстегнула запонку у манжетки, потом достала из своего кармана небольшой, вершка в три, финский ножик и вынула его из

кожаного чехла.

— Что ты хочешь делать? — спросил я, чувствуя, как во мне шевельнулось подленькое опасение.

— А вот сейчас… Ведь вы же сказали, что не будете бояться!

Вдруг рука ее сделала едва заметное легкое движение, и я ощутил в мякоти руки, немного выше того места, где щупают пульс, раздражающее прикосновение острого лезвия. Кровь тотчас же выступила во всю ширину пореза, полилась по руке и частыми каплями закапала на землю. Я едва удержался от того, чтобы не крикнуть, но, кажется, побледнел.

— Не бойтесь, живы останетесь, — усмехнулась Олеся.

Она крепко обхватила рукой мою руку повыше раны и, низко склонившись к ней лицом, стала быстро шептать что-то, обдавая мою кожу горячим прерывистым дыханием. Когда же Олеся выпрямилась и разжала свои пальцы, то на пораненном месте осталась только красная царапина.

— Ну что? Довольно с вас? — с лукавой улыбкой спросила она, пряча свой ножик. — Хотите еще?

— Конечно, хочу. Только, если бы можно было, не так уж страшно и без кровопролития, пожа-

луйста.

— Что бы вам такое показать? — задумалась она. — Ну хоть разве это вот: идите впереди меня по дороге… Только, смотрите, не оборачивайтесь назад.

— А это не будет страшно? — спросил я, стараясь беспечной улыбкой прикрыть боязливое ожидание неприятного сюрприза.

— Нет, нет… Пустяки… Идите.

Я пошел вперед, очень заинтересованный опытом, чувствуя за своей спиной напряженный взгляд Олеси. Но, пройдя около двадцати шагов, я вдруг споткнулся на совсем ровном месте и упал ничком.

— Идите, идите! — закричала Олеся. — Не оборачивайтесь! Это ничего, до свадьбы заживет… Держитесь крепче за землю, когда будете падать.

Я пошел дальше. Еще десять шагов, и я вторично растянулся во весь рост.

Олеся громко захохотала и захлопала в ладоши.

— Ну что? Довольны? — крикнула она, сверкая своими белыми зубами. — Верите теперь? Ничего, ничего!.. Полетели не вверх, а вниз.

— Как ты это сделала? — с удивлением спросил я, отряхиваясь от приставших к моей одежде

веточек и сухих травинок. — Это не секрет?

— Вовсе не секрет. Я вам с удовольствием расскажу. Только боюсь, что, пожалуй, вы не поймете… Не сумею я объяснить…

Я действительно не совсем понял ее. Но, если не ошибаюсь, этот своеобразный фокус состоит в том, что она, идя за мною следом шаг за шагом, нога в ногу, и неотступно глядя на меня, в то же время старается подражать каждому, самому малейшему моем движению, так сказать, отожествляет себя со мною. Пройдя таким образом несколько шагов, она начинает мысленно воображать на некотором расстоянии впереди меня веревку, протянутую поперек дороги на аршин от земли. В ту минуту, когда я должен прикоснуться ногой к этой воображаемой веревке, Олеся вдруг делает падающее движение, и тогда, по ее словам, самый крепкий человек должен непременно упасть… Только много времени спустя я вспомнил сбивчивое объяснение Олеси, когда читал отчет доктора Шарко об опытах, произведенных им над двумя пациентками Сальпетриера, профессиональными колдуньями, страдавшими истерией. И я был очень удивлен, узнав, что французские колдуньи из простонародья прибегали в подобных случаях совершенно к той

же сноровке, какую пускала в ход хорошенькая полесская ведьма.

— О! Я еще много чего умею, — самоуверенно заявила Олеся. — Например, я могу нагнать на вас страх.

— Что это значит?

— Сделаю так, что вам страшно станет. Сидите вы, например, у себя в комнате вечером, и вдруг на вас найдет ни с того ни с сего такой страх, что вы задрожите и оглянуться не посмеете. Только для этого мне нужно знать, где вы живете, и раньше видеть вашу комнату.

— Ну, уж это совсем просто, — усомнился я. — Подойдешь к окну, постучишь, крикнешь что-нибудь.

— О нет, нет… Я буду в лесу в это время, никуда из хаты не выйду… Но я буду сидеть и все думать, что вот я иду по улице, вхожу в ваш дом, отворяю двери, вхожу в вашу комнату… Вы сидите где-нибудь… ну хоть у стола… я подкрадываюсь к вам сзади тихонько… вы меня не слышите… я хватаю вас за плечо руками и начинаю давить… все крепче, крепче, крепче… а сама гляжу на вас… вот так — смотрите…

Ее тонкие брови вдруг сдвинулись, глаза в упор остановились на мне с грозным и притя-

гивающим выражением, зрачки увеличились и посинели. Мне тотчас же вспомнилась виденная мною в Москве, в Третьяковской галерее, голова Медузы — работа уж не помню какого художника. Под этим пристальным, странным взглядом меня охватил холодный ужас сверхъестественного.

— Ну полно, полно, Олеся… будет, — сказал я с деланным смехом. — Мне гораздо больше нравится, когда ты улыбаешься, — тогда у тебя такое милое, детское лицо.

Мы пошли дальше. Мне вдруг вспомнилась выразительность и даже для простой девушки изысканность фраз в разговоре Олеси, и я сказал:

— Знаешь, что меня удивляет в тебе, Олеся? Вот ты выросла в лесу, никого не видавши… Читать ты, конечно, тоже много не могла…

— Да я вовсе не умею и читать-то.

— Ну, тем более… А между тем ты так хорошо говоришь, не хуже настоящей барышни. Скажи мне, откуда у тебя это? Понимаешь, о чем я спрашиваю?

— Да, понимаю. Это все от бабушки… Вы не глядите, что она такая с виду. У! Какая она умная! Вот, может быть, она и при вас разговорится, когда побольше привыкнет… Она все знает, ну просто все на свете, про что ни спросишь. Правда,

постарела она теперь.

— Значит, она много видела на своем веку? Откуда она родом? Где она раньше жила?

Кажется, эти вопросы не понравились Олесе. Она ответила не сразу, уклончиво и неохотно:

— Не знаю… Да она об этом и не любит говорить. Если же когда и скажет что, то всегда просит забыть и не вспоминать больше… Ну, однако, мне пора, — заторопилась Олеся, — бабушка будет сердиться. До свиданья… Простите, имени вашего не знаю.

Я назвался.

— Иван Тимофеевич? Ну, вот и отлично. Так до свиданья, Иван Тимофеевич! Не брезгуйте нашей хатой, заходите.

На прощанье я протянул ей руку, и ее маленькая крепкая рука ответила мне сильным, дружеским пожатием.

VI

С этого дня я стал частым гостем в избушке на курьих ножках. Каждый раз, когда я приходил, Олеся встречала меня с своим привычным сдержанным достоинством. Но всегда, по первому невольному движению, которое она делала, увидев меня, я замечал, что она радуется моему приходу. Старуха по-прежнему не переставала бурчать что-то себе под нос, но явного недоброжелательства не выражала благодаря невидимому для меня, но несомненному заступничеству внучки; также немалое влияние в благотворном для меня смысле оказывали приносимые мною кое-когда подарки: то теплый платок, то банка варенья, то бутылка вишневой наливки. У нас с Олесей, точно по безмолвному обоюдному уговору, вошло в обыкновение, что она меня провожала до Ириновского шляха, когда я уходил домой. И всегда у нас в это время завязывался такой живой, интересный разговор, что мы оба старались поневоле продлить дорогу, идя как можно тише безмолвными лесными опушками. Дойдя до Ириновского шляха, я ее провожал

обратно с полверсты, и все-таки, прежде чем проститься, мы еще долго разговаривали, стоя под пахучим навесом сосновых ветвей.

Не одна красота Олеси меня в ней очаровывала, но также и ее цельная, самобытная, свободная натура, ее ум, одновременно ясный и окутанный непоколебимым наследственным суеверием, детски невинный, но и не лишенный лукавого кокетства красивой женщины. Она не уставала меня расспрашивать подробно обо всем, что занимало и волновало ее первобытное, яркое воображение: о странах и народах, об явлениях природы, об устройстве земли и вселенной, об ученых людях, о больших городах… Многое ей казалось удивительным, сказочным, неправдоподобным. Но я с самого начала нашего знакомства взял с нею такой серьезный, искренний и простой тон, что она охотно принимала на бесконтрольную веру все мои рассказы. Иногда, затрудняясь объяснить ей что-нибудь, слишком, по моему мнению, непонятное для ее полудикарской головы (а иной раз и самому мне не совсем ясное), я возражал на ее жадные вопросы: «Видишь ли… Я не сумею тебе этого рассказать… Ты не поймешь меня».

Тогда она принималась меня умолять:

— Нет, пожалуйста, пожалуйста, я постараюсь… Вы хоть как-нибудь скажите… хоть и непонятно…

Она принуждала меня пускаться в чудовищные сравнения, в самые дерзкие примеры, и если я затруднялся подыскать выражение, она сама помогала мне целым дождем нетерпеливых вопросов, вроде тех, которые мы предлагаем заике, мучительно застрявшему на одном слове. И действительно, в конце концов ее гибкий, подвижный ум и свежее воображение торжествовали над моим педагогическим бессилием. Я поневоле убеждался, что для своей среды, для своего воспитания (или, вернее сказать, отсутствия его) она обладала изумительными способностями.

Однажды я вскользь упомянул что-то про Петербург. Олеся тотчас же заинтересовалась:

— Что такое Петербург? Местечко?

— Нет, это не местечко; это самый большой русский город.

— Самый большой? Самый, самый, что ни на есть? И больше его нету? — наивно пристала она ко мне.

— Ну да… Там все главное начальство живет… господа большие… Дома там все каменные, дере-

вянных нет.

— Уж, конечно, гораздо больше нашей Степани? — уверенно спросила Олеся.

— О да… немножко побольше… так, раз в пятьсот. Там такие есть дома, в которых в каждом народу живет вдвое больше, чем во всей Степани.

— Ах, боже мой! Какие же это дома? — почти в испуге спросила Олеся.

Мне пришлось, по обыкновению, прибегнуть к сравнению.

— Ужасные дома. В пять, в шесть, а то и семь этажей. Видишь вот ту сосну?

— Самую большую? Вижу.

— Так вот такие высокие дома. И сверху донизу набиты людьми. Живут эти люди в маленьких конурках, точно птицы в клетках, человек по десяти в каждой, так что всем и воздуху-то не хватает. А другие внизу живут, под самой землей, в сырости и холоде; случается, что солнца у себя в комнате круглый год не видят.

— Ну, уж я б ни за что не променяла своего леса на ваш город, — сказала Олеся, покачав головой. — Я и в Степань-то приду на базар, так мне противно сделается. Толкаются, шумят, бранятся… И такая меня тоска возьмет за лесом, — так

бы бросила все и без оглядки побежала… Бог с ним, с городом вашим, не стала бы я там жить никогда.

— Ну, а если твой муж будет из города? — спросил я с легкой улыбкой.

Ее брови нахмурились, и тонкие ноздри дрогнули.

— Вот еще! — сказала она с пренебрежением. — Никакого мне мужа не надо.

— Это ты теперь только так говоришь, Олеся. Почти все девушки то же самое говорят и все же замуж выходят. Подожди немного: встретишься с кем-нибудь, полюбишь — тогда не только в город, а на край света с ним пойдешь.

— Ах, нет, нет… пожалуйста, не будем об этом, — досадливо отмахнулась она. — Ну к чему этот разговор?.. Прошу вас, не надо.

— Какая ты смешная, Олеся. Неужели ты думаешь, что никогда в жизни не полюбишь мужчину? Ты — такая молодая, красивая, сильная. Если в тебе кровь загорится, то уж тут не до зароков будет.

— Ну что ж — и полюблю! — сверкнув глазами, с вызовом ответила Олеся. — Спрашиваться ни у кого не буду…

— Стало быть, и замуж пойдешь, — поддраз-

нил я.

— Это вы, может быть, про церковь говорите? — догадалась она.

— Конечно, про церковь… Священник вокруг аналоя будет водить, дьякон запоет «Исаия ликуй», на голову тебе наденут венец…

Олеся опустила веки и со слабой улыбкой отрицательно покачала головой.

— Нет, голубчик… Может быть, вам и не понравится, что я скажу, а только у нас в роду никто не венчался: и мать и бабка без этого прожили… Нам в церковь и заходить-то нельзя…

— Все из-за колдовства вашего?

— Да, из-за нашего колдовства, — со спокойной серьезностью ответила Олеся. — Как же я посмею в церковь показаться, если уже от самого рождения моя душа продана *ему*.

— Олеся… Милая… Поверь мне, что ты сама себя обманываешь… Ведь это дико, это смешно, что ты говоришь.

На лице Олеси опять показалось уже замеченное мною однажды странное выражение убежденной и мрачной покорности своему таинственному предназначению.

— Нет, нет… Вы этого не можете понять, а я это чувствую… Вот здесь, — она крепко притиснула

руку к груди, — в душе чувствую. Весь наш род проклят во веки веков. Да вы посудите сами: кто же нам помогает, как не *он*? Разве может простой человек сделать то, что я могу? Вся наша сила от *него* идет.

И каждый раз наш разговор, едва коснувшись этой необычайной темы, кончался подобным образом. Напрасно я истощал все доступные пониманию Олеси доводы, напрасно говорил в простой форме о гипнотизме, о внушении, о докторах-психиатрах и об индийских факирах, напрасно старался объяснить ей физиологическим путем некоторые из ее опытов, хотя бы, например, заговаривание крови, которое так просто достигается искусным нажатием на вену, — Олеся, такая доверчивая ко мне во всем остальном, с упрямой настойчивостью опровергала все мои доказательства и объяснения... «Ну, хорошо, хорошо, про заговор крови я вам, так и быть, подарю, — говорила она, возвышая голос в увлечении спора — а откуда же другое берется? Разве я одно только и знаю, что кровь заговаривать? Хотите, я вам в один день всех мышей и тараканов выведу из хаты? Хотите, я в два дня вылечу простой водой самую сильную огневицу, хоть бы все ваши доктора от больного отказа-

лись? Хотите, я сделаю так, что вы какое-нибудь одно слово совсем позабудете? А сны почему я разгадываю? А будущее почему узнаю?»

Кончался этот спор всегда тем, что и я и Олеся умолкали не без внутреннего раздражения друг против друга. Действительно, для многого из ее черного искусства я не умел найти объяснения в своей небольшой науке. Я не знаю и не могу сказать, обладала ли Олеся и половиной тех секретов, о которых говорила с такой наивной верой, но то, чему я сам бывал нередко свидетелем, вселило в меня непоколебимое убеждение, что Олесе были доступны те бессознательные, инстинктивные, туманные, добытые случайным опытом, странные знания, которые, опередив точную науку на целые столетия, живут, перемешавшись со смешными и дикими поверьями, в темной, замкнутой народной массе, передаваясь как величайшая тайна из поколения в поколение.

Несмотря на резкое разногласие в этом единственном пункте, мы все сильнее и крепче привязывались друг к другу. О любви между нами не было сказано еще ни слова, но быть вместе для нас уже сделалось потребностью, и часто в молчаливые минуты, когда наши взгляды нечаянно и одновременно встречались, я видел, как

увлажнялись глаза Олеси и как билась тоненькая голубая жилка у нее на виске…

Зато мои отношения с Ярмолой совсем испортились. Для него, очевидно, не были тайной мои посещения избушки на курьих ножках и вечерние прогулки с Олесей: он всегда с удивительной точностью знал все, что происходит в *его* лесу. С некоторого времени я заметил, что он начинает избегать меня. Его черные глаза следили за мною издали с упреком и неудовольствием каждый раз, когда я собирался идти в лес, хотя порицания своего он не высказывал ни одним словом. Наши комически серьезные занятия грамотой прекратились. Если же я иногда вечером звал Ярмолу учиться, он только махал рукой.

— Куда там! Пустое это дело, паныч, — говорил он с ленивым презрением.

На охоту мы тоже перестали ходить. Всякий раз, когда я подымал об этом разговор, у Ярмолы находился какой-нибудь предлог для отказа: то ружье у него не исправно, то собака больна, то ему самому некогда. «Нема часу, паныч… нужно пашню сегодня орать», — чаще всего отвечал Ярмола на мое приглашение, в я отлично знал, что он вовсе не будет «орать пашню», а проведет целый день около монополии в сомнительной на-

дежде на чье-нибудь угощение. Эта безмолвная, затаенная вражда начинала меня утомлять, и я уже подумывал о том, чтобы отказаться от услуг Ярмолы, воспользовавшись для этого первым подходящим предлогом… Меня останавливало только чувство жалости к его огромной нищей семье, которой четыре рубля Ярмолова жалованья помогали не умереть с голода.

VII

Однажды, когда я, по обыкновению, пришел перед вечером в избушку на курьих ножках, мне сразу бросилось в глаза удрученное настроение духа ее обитательниц. Старуха сидела с ногами на постели и, сгорбившись, обхватив голову руками, качалась взад и вперед и что-то невнятно бормотала. На мое приветствие она не обратила никакого внимания. Олеся поздоровалась со мной, как и всегда, ласково, но разговор у нас не вязался. По-видимому, она слушала меня рассеянно и отвечала невпопад. На ее красивом лице лежала тень какой-то беспрестанной внутренней заботы.

— Я вижу, у вас случилось что-то нехорошее, Олеся, — сказал я, осторожно прикасаясь рукой к ее руке, лежавшей на скамейке.

Олеся быстро отвернулась к окну, точно разглядывая там что Она старалась казаться спокойной, но ее брови сдвинулись и задрожали, а зубы крепко прикусили нижнюю губу.

— Нет… что же у нас могло случиться особенного? — произнесла она глухим голосом. — Все как

было, так и осталось.

— Олеся, зачем ты говоришь мне неправду? Это нехорошо с твоей стороны… А я было думал, что мы с тобой совсем друзьями стали.

— Право же, ничего нет… Так… свои заботы, пустячные…

— Нет, Олеся, должно быть, не пустячные. Посмотри — ты сама на себя непохожа сделалась.

— Это вам так кажется только.

— Будь же со мной откровенна, Олеся. Не знаю, смогу ли я тебе помочь, но, может быть, хоть совет какой-нибудь дам… Ну наконец, просто тебе легче станет, когда поделишься горем.

— Ах, да правда, не стоит и говорить об этом, — с нетерпением возразила Олеся. — Ничем вы тут нам не можете пособить.

Старуха вдруг с небывалой горячностью вмешалась в наш разговор:

— Чего ты фордыбачишься, дурочка! Тебе дело говорят, а ты нос дерешь. Точно умнее тебя и на свете-то нет никого. Позвольте, господин, я вам всю эту историю расскажу по порядку, — повернулась она в мою сторону.

Размеры неприятности оказались гораздо значительнее, чем я мог предположить из слов

гордой Олеси. Вчера вечером в избушку на курьих ножках заезжал местный урядник.

— Сначала-то он честь честью сел и водки потребовал, — говорила Мануйлиха, — а потом и пошел и пошел. «Выбирайся, говорит, из хаты в двадцать четыре часа со всеми своими потрохами. Если, говорит, я в следующий раз приеду и застану тебя здесь, так и знай, не миновать тебе этапного порядка. При двух, говорит, солдатах отправлю тебя, анафему, на родину». А моя родина, батюшка, далекая, город Амченск… У меня там теперь и души знакомой нет, да и пачпорта наши просрочены-распросрочены, да еще к тому неисправные. Ах ты, господи, несчастье мое!

— Почему же он раньше позволял тебе жить, а только теперь надумался? — спросил я.

— Да вот поди ж ты… Брехал он что-то такое, да я, признаться, не поняла. Видишь, какое дело: хибарка эта, вот в которой мы живем, не наша, а помещичья. Ведь мы раньше с Олесей на селе жили, а потом…

— Знаю, знаю, бабушка, слышал об этом… Мужики на тебя рассердились…

— Ну вот это самое. Я тогда у старого помещика, господина Абросимова, эту халупу выпросила. Ну, а теперь будто бы купил лес новый помещик

и будто бы хочет он какие-то болота, что ли, сушить. Только чего ж я-то им помешала?

— Бабушка, а может быть, все это вранье одно? — заметил я. — Просто-напросто уряднику «красненькую» захотелось получить.

— Давала, родной, давала. Не бере-ет! Вот история… Четвертной билет давала, не берет… Куд-да тебе! Так на меня вызверился, что я уж не знала, где стою. Заладил в одну душу: «Вон ди вон!» Что ж мы теперь делать будем, сироты мы несчастные! Батюшка родимый, хотя бы ты нам чем помог, усовестил бы его, утробу ненасытную. Век бы, кажется, была тебе благодарна.

— Бабушка! — укоризненно, с расстановкой произнесла Олеся.

— Чего там — бабушка! — рассердилась старуха. — Я тебе уже двадцать пятый год — бабушка. Что же, по-твоему, с сумой лучше идти? Нет, господин, вы ее не слушайте. Уж будьте милостивы, если можете сделать, то сделайте.

Я в неопределенных выражениях обещал похлопотать, хотя, по правде сказать, надежды было мало. Если уж наш урядник отказывался «взять», значит, дело было слишком серьезное. В этот вечер Олеся простилась со мной холодно и, против обыкновения, не пошла меня провожать.

Я видел, что самолюбивая девушка сердится на меня за мое вмешательство и немного стыдится бабушкиной плаксивости.

VIII

Было серенькое теплое утро. Уже несколько раз принимался идти крупный, короткий, благодатный дождь, после которого на глазах растет молодая трава и вытягиваются новые побеги. После дождя на минутку выглядывало солнце, обливая радостным сверканием облитую дождем молодую, еще нежную зелень сиреней, сплошь наполнявших мой палисадник; громче становился задорный крик воробьев на рыхлых огородных грядках; сильнее благоухали клейкие коричневые почки тополя. Я сидел у стола и чертил план лесной дачи, когда в комнату вошел Ярмола.

— Есть врядник, — проговорил он мрачно.

У меня в эту минуту совсем вылетело из головы отданное мною два дня тому назад приказание уведомить меня в случае приезда урядника, и я никак не мог сразу сообразить, какое отношение имеет в настоящую минуту ко мне этот представитель власти.

— Что такое? — спросил я в недоумении.

— Говорю, что врядник приехал, — повторил Ярмола тем же враждебным тоном, который он

вообще принял со мною за последние дни. — Сейчас я видел его на плотине. Сюда едет.

На улице послышалось тарахтение колес. Я поспешно бросился к окну и отворил его. Длинный, худой, шоколадного цвета мерин, с отвислой нижней губой и обиженной мордой, степенной рысцой влек высокую тряскую плетушку, с которой он был соединен при помощи одной лишь оглобли, — другую оглоблю заменяла толстая веревка (злые уездные языки уверяли, что урядник нарочно завел этот печальный «выезд» для пресечения всевозможных нежелательных толкований). Урядник сам правил лошадью, занимая своим чудовищным телом, облеченным в серую шинель щегольского офицерского сукна, оба сиденья.

— Мое почтение, Евпсихий Африканович! — крикнул я, высовываясь из окошка.

— А-а, мое почтенье-с! Как здоровьице? — отозвался он любезным, раскатистым начальническим баритоном.

Он сдержал мерина и, прикоснувшись выпрямленной ладонью к козырьку, с тяжеловесной грацией наклонил вперед туловище.

— Зайдите на минуточку. У меня к вам делишко одно есть.

Урядник широко развел руками и затряс головой.

— Не могу-с! При исполнении служебных обязанностей. Еду в Волошу на мертвое тело — утопленник-с.

Но я уже знал слабые стороны Евпсихия Африкановича и потому сказал с деланным равнодушием:

— Жаль, жаль… А я из экономии графа Ворцеля добыл пару таких бутылочек…

— Не могу-с. Долг службы…

— Мне буфетчик по знакомству продал. Он их в погребе, как детей родных, воспитывал… Зашли бы… А я вашему коньку овса прикажу дать.

— Ведь вот вы какой, право, — с упреком сказал урядник. — Разве не знаете, что служба прежде всего?.. А они с чем, эти бутылки-то? Сливянка?

— Какое сливянка! — махнул я рукой. — Старка, батюшка, вот что!

— Мы, признаться, уж подзакусили, — с сожалением почесал щеку урядник, невероятно сморщив при этом лицо.

Я продолжал с прежним спокойствием:

— Не знаю, правда ли, но буфетчик божился, что ей двести лет. Запах — прямо как коньяк, и самой янтарной желтизны.

— Эх! Что вы со мной делаете! — воскликнул в комическом отчаянии урядник. — Кто же у меня лошадь-то примет?

Старки у меня действительно оказалось несколько бутылок, хотя и не такой древней, как я хвастался, но я рассчитывал, что сила внушения прибавит ей несколько десятков лет… Во всяком случае, это была подлинная домашняя, ошеломляющая старка, гордость погреба разорившегося магната. (Евпсихий Африканович, который происходил из духовных, немедленно выпросил у меня бутылку на случай, как он выразился, могущего произойти простудного заболевания…) И закуска у меня нашлась гастрономическая: молодая редиска со свежим, только что сбитым маслом.

— Ну-с, а дельце-то ваше какого сорта? — спросил после пятой рюмки урядник, откинувшись на спинку затрещавшего под ним старого кресла.

Я принялся излагать ему положение бедной старухи, упомянул про ее беспомощность и отчаяние, вскользь прошелся насчет ненужного формализма. Урядник слушал меня с опущенной вниз головой, методически очищая от корешков красную, упругую, ядреную редиску и пережевывая ее с аппетитным хрустением. Изредка он

быстро вскидывал на меня равнодушные, мутные, до смешного маленькие и голубые глаза, но на его красной огромной физиономии я не мог ничего прочесть: ни сочувствия, ни сопротивления. Когда я наконец замолчал, он только спросил:

— Ну, так чего же вы от меня хотите?

— Как чего? — заволновался я. — Вникните же, пожалуйста, в их положение. Живут две бедные, беззащитные женщины…

— И одна из них прямо бутон садовый! — ехидно вставил урядник.

— Ну уж там бутон или не бутон — это дело девятое. Но почему, скажите, вам и не принять в них участия? Будто бы вам уж так к спеху требуется их выселить? Ну хоть подождите немного, покамест я сам у помещика похлопочу. Чем вы рискуете, если подождете с месяц?

— Как чем я рискую-с?! — взвился с кресла урядник. — Помилуйте, да всем рискую, и прежде всего службой-с. Бог его знает каков этот господин Ильяшевич, новый помещик. А может быть, каверзник-с… из таких, которые, чуть что, сейчас бумажку, перышко и доносик в Петербург-с? У нас ведь бывают и такие-с!

Я попробовал успокоить расходившегося урядника:

— Ну полноте, Евпсихий Африканович. Вы преувеличиваете все это дело. Наконец что же? Ведь риск риском, а благодарность все-таки благодарностью.

— Фью-ю-ю! — протяжно свистнул урядник и глубоко засунул руки в карманы шаровар. — Тоже благодарность называется! Что же вы думаете, я из-за каких-нибудь двадцати пяти рублей поставлю на карту свое служебное положение? Нет-с, это вы обо мне плохо понимаете.

— Да что вы горячитесь, Евпсихий Африканович? Здесь вовсе не в сумме дело, а просто так… Ну хоть по человечеству…

— По че-ло-ве-че-ству? — иронически отчеканил он каждый слог. — Позвольте-с, да у меня эти человеки вот где сидят-с!

Он энергично ударил себя по могучему бронзовому затылку, который свешивался на воротник жирной безволосой складкой.

— Ну, уж это вы, кажется, слишком, Евпсихий Африканович.

— Ни капельки не слишком-с. «Это — язва здешних мест», по выражению знаменитого баснописца, господина Крылова. Вот кто эти две дамы-с! Вы не изволили читать прекрасное сочинение его сиятельства князя Урусова под

заглавием «Полицейский урядник»?

— Нет, не приходилось.

— И очень напрасно-с. Прекрасное и высоконравственное произведение. Советую на досуге ознакомиться…

— Хорошо, хорошо, я с удовольствием ознакомлюсь. Но я все-таки не понимаю, какое отношение имеет эта книжка к двум бедным женщинам?

— Какое? Очень прямое-с. Пункт первый (Евпсихий Африканович загнул толстый, волосатый указательный палец на левой руке): «Урядник имеет неослабное наблюдение, чтобы все ходили в храм божий с усердием, пребывая, однако, в оном без усилия…» Позвольте узнать, ходит ли эта… как ее… Мануйлиха, что ли?.. Ходит ли она когда-нибудь в церковь?

Я молчал, удивленный неожиданным оборотом речи. Он поглядел на меня с торжеством и загнул второй палец.

— Пункт второй: «Запрещаются повсеместно лжепредсказания и лжепредзнаменования…» Чувствуете-с? Затем пункт третий-с: «Запрещается выдавать себя за колдуна или чародея и употреблять подобные обманы-с». Что вы на это скажете? А вдруг все это обнаружится или стороной дойдет до начальства? Кто в ответе? — Я.

Кого из службы по шапке? — Меня. Видите, какая штукенция.

Он опять уселся в кресло. Глаза его, поднятые кверху, рассеянно бродили по стенам комнаты, а пальцы громко барабанили по столу.

— Ну, а если я вас попрошу, Евпсихий Африканович? — начал я опять умильным тоном. — Конечно, ваши обязанности сложные и хлопотливые, но ведь сердце у вас, я знаю, предоброе, золотое сердце. Что вам стоит пообещать мне не трогать этих женщин?

Глаза урядника вдруг остановились поверх моей головы.

— Хорошенькое у вас ружьишко, — небрежно уронил он, не переставая барабанить. — Славное ружьишко. Прошлый раз, когда я к вам заезжал и не застал дома, я все на него любовался… Чудное ружьецо!

Я тоже повернул голову назад и поглядел на ружье.

— Да, ружье недурное, — похвалил я. — Ведь оно старинное, фабрики Гастин-Реннета, я его только в прошлом году на центральное переделал. Вы обратите внимание на стволы.

— Как же-с, как же-с… я на стволы-то главным образом и любовался. Великолепная вещь… Про-

сто, можно сказать, сокровище.

Наши глаза встретились, и я увидел, как в углах губ урядника дрогнула легкая, но многозначительная улыбка. Я поднялся с места, снял со стены ружье и подошел с ним к Евпсихию Африкановичу.

— У черкесов есть очень милый обычай дарить гостю все, что он похвалит, — сказал я любезно. — Мы с вами хотя и не черкесы, Евпсихий Африканович, но я прошу вас принять от меня эту вещь на память.

Урядник для виду застыдился.

— Помилуйте, такую прелесть! Нет, нет, это уже чересчур щедрый обычай!

Однако мне не пришлось долго его уговаривать. Урядник принял ружье, бережно поставил его между своих колен и любовно отер чистым носовым платком пыль, осевшую на спусковой скобе. Я немного успокоился, увидев, что ружье, по крайней мере, перешло в руки любителя и знатока. Почти тотчас Евпсихий Африканович встал и заторопился ехать.

— Дело не ждет, а я тут с вами забалакался, — говорил он, громко стуча о пол неналезавшими калошами. — Когда будете в наших краях, милости просим ко мне.

— Ну, а как же насчет Мануйлихи, господин начальство? — деликатно напомнил я.

— Посмотрим, увидим… — неопределенно буркнул Евпсихий Африканович. — Я вот вас о чем хотел попросить… Редис у вас замечательный…

— Сам вырастил.

— Уд-дивительный редис! А у меня, знаете ли, моя благоверная страшная обожательница всякой овощи. Так если бы, знаете, того, пучочек один.

— С наслаждением, Евпсихий Африканович. Сочту долгом… Сегодня же с нарочным отправлю корзиночку. И маслица уж позвольте заодно… Масло у меня на редкость.

— Ну, и маслица… — милостиво разрешил урядник. — А этим бабам вы дайте уж знак, что я их пока что не трону. Только пусть они ведают, — вдруг возвысил он голос, — что одним спасибо от меня не отделаются. А засим желаю здравствовать. Еще раз мерси вам за подарочек и за угощение.

Он по-военному пристукнул каблуками и грузной походкой сытого важного человека пошел к своему экипажу, около которого в почтительных позах, без шапок, уже стояли сотский, сельский староста и Ярмола.

IX

Евпсихий Африканович сдержал свое обещание и оставил на неопределенное время в покое обитательниц лесной хатки. Но мои отношения с Олесей резко и странно изменились. В ее обращении со мной не осталось и следа прежней доверчивой и наивной ласки, прежнего оживления, в котором так мило смешивалось кокетство красивой девушки с резвой ребяческой шаловливостью. В нашем разговоре появилась какая-то непреодолимая неловкая принужденность... С поспешной боязливостью Олеся избегала живых тем, дававших раньше такой безбрежный простор нашему любопытству.

В моем присутствии она отдавалась работе с напряженной, суровой деловитостью, но часто я наблюдал, как среди этой работы ее руки вдруг опускались бессильно вдоль колен, а глаза неподвижно и неопределенно устремлялись вниз, на пол. Если в такую минуту я называл Олесю по имени или предлагал ей какой-нибудь вопрос, она вздрагивала и медленно обращала ко мне свое лицо, в котором отражались испуг и усилие

понять смысл моих слов. Иногда мне казалось, что ее тяготит и стесняет мое общество, но это предположение плохо вязалось с громадным интересом, возбуждаемым в ней всего лишь несколько дней тому назад каждым моим замечанием, каждой фразой… Оставалось думать только, что Олеся не хочет мне простить моего, так возмутившего ее независимую натуру, покровительства в деле с урядником. Но и эта догадка не удовлетворяла меня: откуда в самом деле могла явиться у простой, выросшей среди леса девушки такая чрезмерно щепетильная гордость?

Все это требовало разъяснений, а Олеся упорно избегала всякого благоприятного случая для откровенного разговора. Наши вечерние прогулки прекратились. Напрасно каждый день, собираясь уходить, я бросал на Олесю красноречивые, умоляющие взгляды, — она делала вид, что не понимает их значения. Присутствие же старухи, несмотря на ее глухоту, беспокоило меня.

Иногда я возмущался против собственного бессилия и против привычки, тянувшей меня каждый день к Олесе. Я и сам не подозревал, какими тонкими, крепкими, незримыми нитями было привязано мое сердце к этой очаровательной, непонятной для меня девушке. Я еще не

думал о любви, но я уже переживал тревожный, предшествующий любви период, полный смутных, томительно грустных ощущений. Где бы я ни был, чем бы ни старался развлечься, — все мои мысли были заняты образом Олеси, все мое существо стремилось к ней, каждое воспоминание об ее иной раз самых ничтожных словах, об ее жестах и улыбках сжимало с тихой и сладкой болью мое сердце. Но наступал вечер, и я подолгу сидел возле нее на низкой шаткой скамеечке, с досадой чувствуя себя все более робким, неловким и ненаходчивым.

Однажды я провел таким образом около Олеси целый день. Уже с утра я себя чувствовал нехорошо, хотя еще не мог ясно определить, в чем заключалось мое нездоровье. К вечеру мне стало хуже. Голова сделалась тяжелой, в ушах шумело, в темени я ощущал тупую беспрестанную боль, — точно кто-то давил на ней мягкой, но сильной рукой. Во рту у меня пересохло, и по всему телу постоянно разливалась какая-то ленивая, томная слабость, от которой каждую минуту хотелось зевать и тянуться. В глазах чувствовалась такая боль, как будто бы я только что пристально и близко глядел на блестящую точку.

Когда же поздним вечером я возвращался

домой, то как раз на середине пути меня вдруг схватил и затряс бурный приступ озноба. Я шел, почти не видя дороги, почти не сознавая, куда иду, и шатаясь, как пьяный, между тем как мои челюсти выбивали одна о другую частую и громкую дробь.

Я до сих пор не знаю, кто довез меня до дому… Ровно шесть дней била меня неотступная ужасная полесская лихорадка. Днем недуг как будто бы затихал, и ко мне возвращалось сознание. Тогда, совершенно изнуренный болезнью, я еле-еле бродил по комнате с болью и слабостью в коленях; при каждом более сильном движении кровь приливала горячей волной к голове и застилала мраком все предметы перед моими глазами. Вечером же, обыкновенно часов около семи, как буря, налетал на меня приступ болезни, и я проводил на постели ужасную, длинную, как столетие, ночь, то трясясь под одеялом от холода, то пылая невыносимым жаром. Едва только дремота слегка касалась меня, как странные, нелепые, мучительно-пестрые сновидения начинали играть моим разгоряченным мозгом. Все мои грезы были полны мелочных микроскопических деталей, громоздившихся и цеплявшихся одна за другую в безобразной сутолоке. То мне казалось, что я

разбираю какие-то разноцветные, причудливых форм ящики, вынимая маленькие из больших, а из маленьких еще меньшие, и никак не могу прекратить этой бесконечной работы, которая мне давно уже кажется отвратительной. То мелькали перед моими глазами с одуряющей быстротой длинные яркие полосы обоев, и на них вместо узоров я с изумительной отчетливостью видел целые гирлянды из человеческих физиономий — порою красивых, добрых и улыбающихся, порою делающих страшные гримасы, высовывающих языки, скалящих зубы и вращающих огромными белками. Затем я вступал с Ярмолой в запутанный, необычайно сложный отвлеченный спор. С каждой минутой доводы, которые мы приводили друг другу, становились все более тонкими и глубокими; отдельные слова и даже буквы слов принимали вдруг таинственное, неизмеримое значение, и вместе с тем меня все сильнее охватывал брезгливый ужас перед неведомой, противоестественной силой, что выматывает из моей головы один за другим уродливые софизмы и не позволяет мне прервать давно уже опротивевшего спора…

Это был какой-то кипящий вихрь человеческих и звериных фигур, ландшафтов, предметов са-

мых удивительных форм и цветов, слов и фраз, значение которых воспринималось всеми чувствами… Но — странное дело — в то же время я не переставал видеть на потолке светлый ровный круг, отбрасываемый лампой с зеленым обгоревшим абажуром. И я знал почему-то, что в этом спокойном круге с нечеткими краями притаилась безмолвная, однообразная, таинственная и грозная жизнь, еще более жуткая и угнетающая, чем бешеный хаос моих сновидений.

Потом я просыпался или, вернее, не просыпался, а внезапно заставал себя бодрствующим. Сознание почти возвращалось ко мне. Я понимал, что лежу в постели, что я болен, что я только что бредил, но светлый круг на темном потолке все-таки пугал меня затаенной зловещей угрозой. Слабою рукой дотягивался я до часов, смотрел на них и с тоскливым недоумением убеждался, что вся бесконечная вереница моих уродливых снов заняла не более двух-трех минут. «Господи! Да когда же настанет рассвет!» — с отчаянием думал я, мечась головой по горячим подушкам и чувствуя, как опаляет мне губы мое собственное тяжелое и короткое дыхание… Но вот опять овладевала мною тонкая дремота, и опять мозг мой делался игралищем пестрого кошмара, и опять через две

минуты я просыпался, охваченный смертельной тоской…

Через шесть дней моя крепкая натура, вместе с помощью хинина и настоя подорожника, победила болезнь. Я встал с постели весь разбитый, едва держась на ногах. Выздоровление совершалось с жадной быстротой. В голове, утомленной шестидневным лихорадочным бредом, чувствовалось теперь ленивое и приятное отсутствие мыслей. Аппетит явился в удвоенном размере, и тело мое крепло по часам, впивая каждой своей частицей здоровье и радость жизни. Вместе с тем с новой силой потянуло меня в лес, в одинокую покривившуюся хату. Нервы мои еще не оправились, и каждый раз, вызывая в памяти лицо и голос Олеси, я чувствовал такое нежное умиление, что мне хотелось плакать.

X

Прошло еще пять дней, и я настолько окреп, что пешком, без малейшей усталости, дошел до избушки на курьих ножках. Когда я ступил на ее порог, то сердце забилось с тревожным страхом у меня в груди. Почти две недели не видал я Олеси и теперь особенно ясно понял, как была она мне близка и мила. Держась за скобку двери, я несколько секунд медлил и едва переводил дыхание. В нерешимости я даже закрыл глаза на некоторое время, прежде чем толкнуть дверь…

В впечатлениях, подобных тем, которые последовали за моим входом, никогда невозможно разобраться… Разве можно запомнить слова, произносимые в первые моменты встречи матерью и сыном, мужем и женой или двумя влюбленными? Говорятся самые простые, самые обиходные фразы, смешные даже, если их записывать с точностью на бумаге. Но здесь каждое слово уместно и бесконечно мило уже потому, что говорится оно самым дорогим на свете голосом.

Я помню, очень ясно помню только то, что ко мне быстро обернулось бледное лицо Олеси и

что на этом прелестном, новом для меня лице в одно мгновение отразились, сменяя друг друга, недоумение, испуг, тревога и нежная сияющая улыбка любви… Старуха что-то шамкала, топчась возле меня, но я не слышал ее приветствий. Голос Олеси донесся до меня, как сладкая музыка:

— Что с вами случилось? Вы были больны? Ох, как же вы исхудали, бедный мой.

Я долго не мог ничего ответить, и мы молча стояли друг против друга, держась за руки, прямо, глубоко и радостно смотря друг другу в глаза. Эти несколько молчаливых секунд я всегда считаю самыми счастливыми в моей жизни; никогда, никогда, ни раньше, ни позднее, я не испытывал такого чистого, полного, всепоглощающего восторга. И как много я читал в больших темных глазах Олеси: и волнение встречи, и упрек за мое долгое отсутствие, и горячее признание в любви… Я почувствовал, что вместе с этим взглядом Олеся отдает мне радостно, без всяких условий и колебаний, все свое существо.

Она первая нарушила это очарование, указав мне медленным движением век на Мануйлиху. Мы уселись рядом, и Олеся принялась подробно и заботливо расспрашивать меня о ходе моей болезни, о лекарствах, которые я принимал, о словах и

мнениях доктора (два раза приезжавшего ко мне из местечка). Про доктора она заставила меня рассказать несколько раз подряд, и я порою замечал на ее губах беглую насмешливую улыбку.

— Ах, зачем я не знала, что вы захворали! — воскликнула она с нетерпеливым сожалением. — Я бы в один день вас на ноги поставила… Ну, как же им можно доверяться, когда они ничего, ни-че-го не понимают? Почему вы за мной не послали?

Я замялся.

— Видишь ли, Олеся… это и случилось так внезапно… и кроме того, я боялся тебя беспокоить. Ты в последнее время стала со мной какая-то странная, точно все сердилась на меня или надоел я тебе… Послушай, Олеся, — прибавил я, понижая голос, — нам с тобой много, много нужно поговорить… только одним… понимаешь?

Она тихо опустила веки в знак согласия, потом боязливо оглянулась на бабушку и быстро шепнула:

— Да… я и сама хотела… потом… подождите…

Едва только закатилось солнце, как Олеся стала меня торопить идти домой.

— Собирайтесь, собирайтесь скорее, — говорила она, увлекая меня за руку со скамейки. — Если вас теперь сыростью охватит, — болезнь сейчас

же назад вернется.

— А ты куда же, Олеся? — спросила вдруг Мануйлиха, видя, что ее внучка поспешно набросила на голову большой серый шерстяной платок.

— Пойду… провожу немножко, — ответила Олеся.

Она произнесла это равнодушно, глядя не на бабушку, а в окно, но в ее голосе я уловил чуть заметный оттенок раздражения.

— Пойдешь-таки? — с ударением переспросила старуха.

— Да, и пойду! — возразила она надменно. — Уж давно об этом говорено и переговорено… Мое дело, мой и ответ.

— Эх, ты!.. — с досадой и укоризной воскликнула старуха.

Она хотела еще что-то прибавить, но только махнула рукой, поплелась своей дрожащей походкой в угол и, кряхтя, закопошилась там над какой-то корзиной.

Я понял, что этот быстрый недовольный разговор, которому я только что был свидетелем, служит продолжением длинного ряда взаимных ссор и вспышек. Спускаясь рядом с Олесей к бору, я спросил ее:

— Бабушка не хочет, чтобы ты ходила со мной

гулять? Да?

Олеся с досадой пожала плечами.

— Пожалуйста, не обращайте на это внимания. Ну да, не хочет… Что ж!.. Разве я не вольна делать, что мне нравится?

Во мне вдруг поднялось неудержимое желание упрекнуть Олесю за ее прежнюю суровость.

— Значит, и раньше, еще до моей болезни, ты тоже могла, но только не хотела оставаться со мною один на один… Ах, Олеся, если бы ты знала, какую ты причинила мне боль… Я так ждал, так ждал каждый вечер, что ты опять пойдешь со мною… А ты, бывало, всегда такая невнимательная, скучная, сердитая… О, как ты меня мучила, Олеся!..

— Ну, перестаньте, голубчик… Забудьте это, — с мягким извинением в голосе попросила Олеся.

— Нет, я ведь не в укор тебе говорю, — так, к слову пришлось… Теперь я понимаю, почему это было… А ведь сначала — право, даже смешно и вспомнить — я подумал, что ты обиделась на меня из-за урядника. И эта мысль меня сильно огорчала. Мне казалось, что ты меня таким далеким, чужим человеком считаешь, что даже простую дружескую услугу тебе от меня трудно принять… Очень мне это было горько… Я ведь

и не подозревал, Олеся, что все это от бабушки идет…

Лицо Олеси вдруг вспыхнуло ярким румянцем.

— И вовсе не от бабушки!.. Сама я этого не хотела! — горячо, с задором воскликнула она.

Я поглядел на нее сбоку, так что мне стал виден чистый, нежный профиль ее слегка наклоненной головы. Только теперь я заметил, что и сама Олеся похудела за это время и вокруг ее глаз легли голубоватые тени. Почувствовав мой взгляд, Олеся вскинула на меня глаза, но тотчас же опустила их и отвернулась с застенчивой улыбкой.

— Почему ты не хотела, Олеся? Почему? — спросил я обрывающимся от волнения голосом и, схватив Олесю за руку, заставил ее остановиться.

Мы в это время находились как раз на середине длинной, узкой и прямой, как стрела, лесной просеки. Высокие, стройные сосны обступали нас с обеих сторон, образуя гигантский, уходящий вдаль коридор со сводом из душистых сплетшихся ветвей. Голые, облупившиеся стволы были окрашены багровым отблеском догорающей зари…

— Почему? Почему, Олеся? — твердил я шепотом и все сильнее сжимал ее руку.

— Я не могла… Я боялась, — еле слышно про-

изнесла Олеся. — Я думала, что можно уйти от судьбы… А теперь… теперь…

Она задохнулась, точно ей не хватало воздуху, и вдруг ее руки быстро и крепко обвились вокруг моей шеи, и мои губы сладко обжег торопливый, дрожащий шепот Олеси:

— Теперь мне все равно, все равно!.. Потому что я люблю тебя, мой дорогой, мое счастье, мой ненаглядный!..

Она прижималась ко мне все сильнее, и я чувствовал, как трепетало под моими руками ее сильное, крепкое, горячее тело, как часто билось около моей груди ее сердце. Ее страстные поцелуи вливались в мою еще не окрепшую от болезни голову, как пьяное вино, и я начал терять самообладание.

— Олеся, ради бога, не надо… оставь меня, — говорил я, стараясь разжать ее руки. — Теперь и я боюсь… боюсь самого себя… Пусти меня, Олеся.

Она подняла кверху свое лицо, и все оно осветилось томной, медленной улыбкой.

— Не бойся, мой миленький, — сказала она с непередаваемым выражением нежной ласки и трогательной смелости. — Я никогда не попрекну тебя, ни к кому ревновать не стану… Скажи только: любишь ли?

— Люблю, Олеся. Давно люблю и крепко люблю. Но… не целуй меня больше… Я слабею, у меня голова кружится, я не ручаюсь за себя…

Ее губы опять долго и мучительно-сладко прильнули к моим, и я не услышал, а скорее угадал ее слова:

— Ну, так и не бойся и не думай ни о чем больше… Сегодня наш день, и никто у нас его не отнимет…

И вся эта ночь слилась в какую-то волшебную, чарующую сказку. Взошел месяц, и его сияние причудливо пестро и таинственно расцветило лес, легло среди мрака неровными, иссиня-бледными пятнами на корявые стволы, на изогнутые сучья, на мягкий, как плюшевый ковер, мох. Тонкие стволы берез белели резко и отчетливо, а на их редкую листву, казалось, были наброшены серебристые, прозрачные, газовые покровы. Местами свет вовсе не проникал под густой навес сосновых ветвей. Там стоял полный, непроницаемый мрак, и только в самой середине его скользнувший неведомо откуда луч вдруг ярко озарял длинный ряд деревьев и бросал на землю узкую правильную дорожку, — такую светлую, нарядную и прелестную, точно аллея, убранная эльфами для торжественного шествия Оберона

и Титании. И мы шли, обнявшись, среди этой улыбающейся живой легенды, без единого слова, подавленные своим счастьем и жутким безмолвием леса.

— Дорогой мой, а я ведь и забыла совсем, что тебе домой надо спешить, — спохватилась вдруг Олеся. — Вот какая гадкая! Ты только что выздоровел, а я тебя до сих пор в лесу держу.

Я обнял ее и откинул платок с ее густых темных волос и, наклонясь к ее уху, спросил чуть слышно:

— Ты не жалеешь, Олеся? Не раскаиваешься?

Она медленно покачала головой.

— Нет, нет… Что бы потом ни случилось, я не пожалею. Мне так хорошо…

— А разве непременно должно что-нибудь случиться?

В ее глазах мелькнуло отражение знакомого мне мистического ужаса.

— О, да, непременно… Помнишь, я тебе говорила про трефовую даму? Ведь эта трефовая дама — я, это со мной будет несчастье, про что сказали карты… Ты знаешь, я ведь хотела тебя попросить, чтобы ты и вовсе у нас перестал бывать. А тут как раз ты заболел, и я тебя чуть не полмесяца не видала… И такая меня по тебе

тоска обуяла, такая грусть, что, кажется, все бы на свете отдала, лишь бы с тобой хоть минуточку еще побыть… Вот тогда-то я и решилась. Пусть, думаю, что будет, то и будет, а я своей радости никому не отдам…

— Это правда, Олеся. Это и со мной так было, — сказал я, прикасаясь губами к ее виску. — Я до тех пор не знал, что люблю тебя, покамест не расстался с тобой. Недаром, видно, кто-то сказал, что разлука для любви то же, что ветер для огня: маленькую любовь она тушит, а большую раздувает еще сильней.

— Как ты сказал? Повтори, повтори, пожалуйста, — заинтересовалась Олеся.

Я повторил еще раз это не знаю кому принадлежащее изречение. Олеся задумалась, и я увидел по движению ее губ, что она повторяет мои слова.

Я близко вглядывался в ее бледное, закинутое назад лицо, в ее большие черные глаза с блестевшими в них яркими лунными бликами, — и смутное предчувствие близкой беды вдруг внезапным холодом заползло в мою душу.

XI

Почти целый месяц продолжалась наивная, очаровательная сказка нашей любви, и до сих пор вместе с прекрасным обликом Олеси живут с неувядающей силой в моей душе эти пылающие вечерние зори, эти росистые, благоухающие ландышами и медом утра́, полные бодрой свежести и звонкого птичьего гама, эти жаркие, томные, ленивые июньские дни… Ни разу ни скука, ни утомление, ни вечная страсть к бродячей жизни не шевельнулись за это время в моей душе. Я, как языческий бог или как молодое, сильное животное, наслаждался светом, теплом, сознательной радостью жизни и спокойной, здоровой, чувственной любовью.

Старая Мануйлиха стала после моего выздоровления так несносно брюзглива, встречала меня с такой откровенной злобой и, покамест я сидел в хате, с таким шумным ожесточением двигала горшками в печке, что мы с Олесей предпочитали сходиться каждый вечер в лесу… И величественная зеленая прелесть бора, как драгоценная оправа, украшала нашу безмятежную любовь.

Каждый день я все с бóльшим удивлением находил, что Олеся — эта выросшая среди леса, не умеющая даже читать девушка — во многих случаях жизни проявляет чуткую деликатность и особенный, врожденный такт. В любви — в прямом, грубом ее смысле — всегда есть ужасные стороны, составляющие мученье и стыд для нервных, художественных натур. Но Олеся умела избегать их с такой наивной целомудренностью, что ни разу ни одно дурное сравнение, ни один циничный момент не оскорбили нашей связи.

Между тем приближалось время моего отъезда. Собственно говоря, все мои служебные обязанности в Переброде были уже покончены, и я умышленно оттягивал срок моего возвращения в город. Я еще ни слова не говорил об этом Олесе, боясь даже представить себе, как она примет мое извещение о необходимости уехать. Вообще я находился в затруднительном положении. Привычка пустила во мне слишком глубокие корни. Видеть ежедневно Олесю, слышать ее милый голос и звонкий смех, ощущать нежную прелесть ее ласки — стало для меня больше чем необходимостью. В редкие дни, когда ненастье мешало нам встречаться, я чувствовал себя точно потерянным, точно лишенным чего-то самого

главного, самого важного в моей жизни. Всякое занятие казалось мне скучным, лишним, и все мое существо стремилось в лес, к теплу, к свету, к милому привычному лицу Олеси.

Мысль жениться на Олесе все чаще и чаще приходила мне в голову. Сначала она лишь изредка представлялась мне как возможный, на крайний случай, честный исход из наших отношений. Одно лишь обстоятельство пугало и останавливало меня: я не смел даже воображать себе, какова будет Олеся, одетая в модное платье, разговаривающая в гостиной с женами моих сослуживцев, исторгнутая из этой очаровательной рамки старого леса, полного легенд и таинственных сил.

Но чем ближе подходило время моего отъезда, тем больший ужас одиночества и бóльшая тоска овладевали мною. Решение жениться с каждым днем крепло в моей душе, и под конец я уже перестал видеть в нем дерзкий вызов обществу. «Женятся же хорошие и ученые люди на швейках, на горничных, — утешал я себя, — и живут прекрасно и до конца дней своих благословляют судьбу, толкнувшую их на это решение. Не буду же я несчастнее других, в самом деле?»

Однажды в середине июня, под вечер, я, по обыкновению, ожидал Олесю на повороте узкой

лесной тропинки между кустами цветущего боярышника. Я еще издали узнал легкий, быстрый шум ее шагов.

— Здравствуй, мой родненький, — сказала Олеся, обнимая меня и тяжело дыша. — Заждался небось? А я насилу-насилу вырвалась… Все с бабушкой воевала.

— До сих пор не утихла?

— Куда там! «Ты, говорит, пропадешь из-за него… Натешится он тобою вволю, да и бросит. Не любит он тебя вовсе…»

— Это она про меня так?

— Про тебя, милый… Ведь я все равно ни одному ее словечку не верю.

— А она все знает?

— Не скажу наверно… кажется, знает. Я с ней, впрочем, об этом ничего не говорю — сама догадывается. Ну, да что об этом думать… Пойдем.

Она сорвала ветку боярышника с пышным гнездом белых цветов и воткнула себе в волосы. Мы медленно пошли по тропинке, чуть розовевшей на вечернем солнце.

Я еще прошлой ночью решил во что бы то ни стало высказаться в этот вечер. Но странная робость отяжеляла мой язык. Я думал: если скажу Олесе о моем отъезде и об женитьбе, то поверит

ли она мне? Не покажется ли ей, что я своим предложением только уменьшаю, смягчаю первую боль наносимой раны? «Вот как дойдем до того клена с ободранным стволом, так сейчас же и начну», — назначил я себе мысленно. Мы равнялись с кленом, и я, бледнея от волнения, уже переводил дыхание, чтобы начать говорить, но внезапно моя смелость ослабевала, разрешаясь нервным, болезненным биением сердца и холодом во рту. «Двадцать семь — мое феральное число, — думал я несколько минут спустя, — досчитаю до двадцати семи, и тогда!..» И я принимался считать в уме, но когда доходил до двадцати семи, то чувствовал, что решимость еще не созрела во мне. «Нет, — говорил я себе, — лучше уж буду продолжать считать до шестидесяти, — это составит как раз целую минуту, — и тогда непременно, непременно…»

— Что такое сегодня с тобой? — спросила вдруг Олеся. — Ты думаешь о чем-то неприятном. Что с тобой случилось?

Тогда я заговорил, но заговорил каким-то самому мне противным тоном, с напускной, неестественной небрежностью, точно дело шло о самом пустячном предмете.

— Действительно, есть маленькая неприят-

ность… ты угадала. Олеся… Видишь ли, моя служба здесь окончена, и меня начальство вызывает в город.

Мельком, сбоку я взглянул на Олесю и увидел, как сбежали краска с ее лица и как задрожали ее губы. Но она не ответила мне ни слова. Несколько минут я молча шел с ней рядом. В траве громко кричали кузнечики, и откуда-то издалека доносился однообразный напряженный скрип коростеля.

— Ты, конечно, и сама понимаешь, Олеся, — опять начал я, — что мне здесь оставаться неудобно и негде, да, наконец, и службой пренебрегать нельзя…

— Нет… что же… тут и говорить нечего, — отозвалась Олеся как будто бы спокойно, но таким глухим, безжизненным голосом, что мне стало жутко. — Если служба, то, конечно… надо ехать…

Она остановилась около дерева и оперлась спиною об его ствол, вся бледная, с бессильно упавшими вдоль тела руками, с жалкой, мучительной улыбкой на губах. Ее бледность испугала меня. Я кинулся к ней и крепко сжал ее руки.

— Олеся… что с тобой? Олеся… милая!..

— Ничего… извините меня… это пройдет. Так… голова закружилась…

Она сделала над собой усилие и прошла вперед, не отнимая у меня своей руки.

— Олеся, ты теперь обо мне дурно подумала, — сказал я с упреком. — Стыдно тебе! Неужели и ты думаешь, что я могу уехать, бросив тебя? Нет, моя дорогая. Я потому и начал этот разговор, что хочу сегодня же пойти к твоей бабушке и сказать ей, что ты будешь моей женой.

Совсем неожиданно для меня, Олесю почти не удивили мои слова.

— Твоей женой? — Она медленно и печально покачала головой. — Нет, Ванечка, милый, это невозможно!

— Почему же, Олеся? Почему?

— Нет, нет… Ты и сам понимаешь, что об этом смешно и думать. Ну какая я тебе жена на самом деле? Ты барин, ты умный, образованный, а я? Я и читать не умею, и куда ступить не знаю… Ты одного стыда из-за меня не оберешься…

— Это все глупости, Олеся! — возразил я горячо. — Ты через полгода сама себя не узнаешь. Ты не подозреваешь даже, сколько в тебе врожденного ума и наблюдательности. Мы с тобой вместе прочитаем много хороших книжек, познакомимся с добрыми, умными людьми, мы с тобой весь широкий свет увидим, Олеся… Мы до старости,

до самой смерти будем идти рука об руку, вот как теперь идем, и не стыдиться, а гордиться тобой я буду и благодарить тебя!..

На мою пылкую речь Олеся ответила мне признательным пожатием руки, но продолжала стоять на своем.

— Да разве это одно?.. Может быть, ты еще не знаешь?.. Я никогда не говорила тебе… Ведь у меня отца нет… Я незаконная…

— Перестань, Олеся… Это меньше всего меня останавливает. Что мне за дело до твоей родни, если ты сама для меня дороже отца и матери, дороже целого мира? Нет, все это мелочи, все это пустые отговорки!..

Олеся с тихой, покорной лаской прижалась плечом к моему плечу.

— Голубчик… Лучше бы ты вовсе об этом не начинал разговора… Ты молодой, свободный… Неужели у меня хватило бы духу связать тебя по рукам и по ногам на всю жизнь?.. Ну, а если тебе потом другая понравится? Ведь ты меня тогда возненавидишь, проклянешь тот день и час, когда я согласилась пойти за тебя. Не сердись, мой дорогой! — с мольбой воскликнула она, видя по моему лицу, что мне неприятны эти слова. — Я не хочу тебя обидеть. Я ведь только о твоем счастье

думаю. Наконец, ты позабыл про бабушку. Ну посуди сам, разве хорошо будет с моей стороны ее одну оставить?

— Что ж... и бабушке у нас место найдется. (Признаться, мысль о бабушке меня сильно покоробила.) А не захочет она у нас жить, так во всяком городе есть такие дома... они называются богадельнями... где таким старушкам дают и покой, и уход внимательный...

— Нет, что ты! Она из леса никуда не пойдет. Она людей боится.

— Ну, так ты уж сама придумывай, Олеся, как лучше. Тебе придется выбирать между мной и бабушкой. Но только знай одно — что без тебя мне и жизнь будет противна.

— Солнышко мое! — с глубокой нежностью произнесла Олеся. — Уж за одни твои слова спасибо тебе... Отогрел ты мое сердце... Но все-таки замуж я за тебя не пойду... Лучше уж я так пойду с тобой, если не прогонишь... Только не спеши, пожалуйста, не торопи меня. Дай мне денька два, я все это хорошенько обдумаю... И с бабушкой тоже нужно поговорить.

— Послушай, Олеся, — спросил я, осененный новой догадкой. — А может быть, ты опять... церкви боишься?

Пожалуй, что с этого вопроса и надо было начать. Почти ежедневно спорил я с Олесей, стараясь разубедить ее в мнимом проклятии, тяготеющем над ее родом вместе с обладанием чародейными силами. В сущности, в каждом русском интеллигенте сидит немножко развивателя. Это у нас в крови, это внедрено нам всей русской беллетристикой последних десятилетий. Почем знать? Если бы Олеся глубоко веровала, строго блюла посты и не пропускала ни одного церковного служения, — весьма возможно, что тогда я стал бы иронизировать (но только слегка, ибо я всегда был верующим человеком) над ее религиозностью и развивать в ней критическую пытливость ума. Но она с твердой и наивной убежденностью исповедовала свое общение с темными силами и свое отчуждение от бога, о котором она даже боялась говорить.

Напрасно я покушался поколебать суеверие Олеси. Все мои логические доводы, все мои иной раз грубые и злые насмешки разбивались об ее покорную уверенность в свое таинственное роковое призвание.

— Ты боишься церкви, Олеся? — повторил я.

Она молча наклонила голову.

— Ты думаешь, что бог не примет тебя? — про-

должал я с возрастающей горячностью. — Что у него не хватит для тебя милосердия? У того, который, повелевая миллионами ангелов, сошел, однако, на землю и принял ужасную, позорную смерть для избавления всех людей? У того, кто не погнушался раскаянием самой последней женщины и обещал разбойнику-убийце, что он сегодня же будет с ним в раю?..

Все это было уже не ново Олесе в моем толковании, но на этот раз она даже и слушать меня не стала. Она быстрым движением сбросила с себя платок и, скомкав его, бросила мне в лицо. Началась возня. Я старался отнять у нее цветок боярышника. Сопротивляясь, она упала на землю и увлекла меня за собою, радостно смеясь и протягивая мне свои раскрытые частым дыханием, влажные милые губы…

Поздно ночью, когда мы простились и уже разошлись на довольно большое расстояние, я вдруг услышал за собою голос Олеси.

— Ванечка! Подожди минутку… Я тебе что-то скажу!

Я повернулся и пошел к ней навстречу. Олеся поспешно подбежала ко мне. На небе уже стоял тонкий серебряный зазубренный серп молодого месяца, и при его бледном свете я увидел, что

глаза Олеси полны крупных невылившихся слез.

— Олеся, о чем ты? — спросил я тревожно.

Она схватила мои руки и стала их целовать поочередно.

— Милый… какой ты хороший! Какой ты добрый! — говорила она дрожащим голосом. — Я сейчас шла и подумала: как ты меня любишь!.. И знаешь, мне ужасно хочется сделать тебе что-нибудь очень, очень приятное.

— Олеся… Девочка моя славная, успокойся…

— Послушай, скажи мне, — продолжала она, — ты бы очень был доволен, если бы я когда-нибудь пошла в церковь? Только правду, истинную правду скажи.

Я задумался. У меня вдруг мелькнула в голове суеверная мысль: а не случится ли от этого какого-нибудь несчастья?

— Что же ты молчишь? Ну, говори скорее, был бы ты этому рад или тебе все равно?

— Как тебе сказать, Олеся? — начал я с запинкой. — Ну да, пожалуй, мне это было бы приятно. Я ведь много раз говорил тебе, что мужчина может не верить, сомневаться, даже смеяться, наконец. Но женщина… женщина должна быть набожна без рассуждений. В той простой и нежной доверчивости, с которой она отдает себя под

защиту бога, я всегда чувствую что-то трогательное, женственное и прекрасное.

Я замолчал. Олеся тоже не отзывалась, притаившись головой около моей груди.

— А зачем ты меня об этом спросила? — полюбопытствовал я.

Она вдруг встрепенулась.

— Так себе… Просто спросила… Ты не обращай внимания. Ну, до свидания, милый. Приходи же завтра.

Она скрылась. Я еще долго глядел в темноту, прислушиваясь к частым, удалявшимся от меня шагам. Вдруг внезапный ужас предчувствия охватил меня. Мне неудержимо захотелось побежать вслед за Олесей, догнать ее и просить, умолять, даже требовать, если нужно, чтобы она не шла в церковь. Но я сдержал свой неожиданный порыв и даже — помню, — пускаясь в дорогу, проговорил вслух:

— Кажется, вы сами, дорогой мой Ванечка, заразились суеверием.

О, боже мой! Зачем я не послушался тогда смутного влечения сердца, которое — я теперь, безусловно, верю в это! — никогда не ошибается в своих быстрых тайных предчувствиях?

XII

На другой день после этого свидания пришелся как раз праздник св. Троицы, выпавший в этом году на день великомученика Тимофея, когда, по народным сказаниям, бывают знамения перед неурожаем. Село Переброд в церковном отношении считалось приписным, то есть в нем хотя и была своя церковь, но отдельного священника при ней не полагалось, а наезжал изредка, постом и по большим праздникам, священник села Волчьего.

Мне в этот день необходимо было съездить по служебным делам в соседнее местечко, и я отправился туда часов в восемь утра, еще по холодку, верхом. Для разъездов я давно уже купил себе небольшого жеребчика лет шести-семи, происходившего из местной неказистой породы, но очень любовно и тщательно выхоленного прежним владельцем, уездным землемером. Лошадь звали Таранчиком. Я сильно привязался к этому милому животному, с крепкими, тоненькими, точеными ножками, с косматой челкой, из-под которой сердито и недоверчиво выглядывали ог-

ненные глазки, с крепкими, энергично сжатыми губами. Масти он был довольно редкой и смешной: весь серый, мышастый, и только по крупу у него шли пестрые, белые и черные пятна.

Мне пришлось проезжать через все село. Большая зеленая площадь, идущая от церкви до кабака, была сплошь занята длинными рядами телег, в которых с женами и детьми приехали на праздник крестьяне окрестных деревень: Волоши, Зульни и Печаловки. Между телегами сновали люди. Несмотря на ранний час и строгие постановления, между ними уже намечались пьяные (водкой по праздникам и в ночное время торговал потихоньку бывший шинкарь Сруль). Утро было безветренное, душное. В воздухе парило, и день обещал быть нестерпимо жарким. На раскаленном и точно подернутом серебристой пылью небе не показалось ни одного облачка.

Справив все, что мне нужно было в местечке, я перекусил на скорую руку в заезжем доме фаршированной еврейской щукой, запил ее прескверным, мутным пивом и отправился домой. Но, проезжая мимо кузницы, я вспомнил, что у Таранчика давно уже хлябает подкова на левой передней, и остановился, чтобы перековать лошадь. Это заняло у меня еще часа полтора вре-

мени, так что, когда я подъезжал к перебродской околице, было уже между четырьмя и пятью часами пополудни.

Вся площадь кишмя кишела пьяным, галдящим народом. Ограду и крыльцо кабака буквально запрудили, толкая и давя друг друга, покупатели; перебродские крестьяне перемешались с приезжими, рассевшись на траве, в тени повозок. Повсюду виднелись запрокинутые назад головы и поднятые вверх бутылки. Трезвых уже не было ни одного человека. Общее опьянение дошло до того предела, когда мужик начинает бурно и хвастливо преувеличивать свой хмель, когда все движения его приобретают расслабленную и грузную размашистость, когда вместо того, например, чтобы утвердительно кивнуть головой, он оседает вниз всем туловищем, сгибает колени и, вдруг потеряв устойчивость, беспомощно пятится назад. Ребятишки возились и визжали тут же, под ногами лошадей, равнодушно жевавших сено. В ином месте баба, сама еле держась на ногах, с плачем и руганью тащила домой за рукав упиравшегося, безобразно пьяного мужа… В тени забора густая кучка, человек в двадцать мужиков и баб, тесно обсела слепого лирника, и его дрожащий, гнусавый тенор, сопровождаемый

звенящим монотонным жужжанием инструмента, резко выделялся из сплошного гула толпы. Еще издали услышал я знакомые слова «думки»:

Ой зийшла зоря, тай вечирняя
Над Почаевым стала.
Ой вышло вийско турецкое,
Як та черная хмара…

Дальше в этой думке рассказывается о том, как турки, не осилив Почаевской лавры приступом, порешили взять ее хитростью. С этой целью они послали, как будто бы в дар монастырю, огромную свечу, начиненную порохом. Привезли эту свечу на двенадцати парах волов, и обрадованные монахи уже хотели возжечь ее перед иконой Почаевской божией матери, но бог не допустил совершиться злодейскому замыслу.

А приснилося старшему чтецу:
Той свичи не брати.
Вывезти еи в чистое поле,
Сокирами зрубати.

И вот иноки:

Вывезли еи в чистое поле,
Сталы еи рубати,

Кули и патроны на вси стороны
Сталы – геть! – роскидати…

Невыносимо жаркий воздух, казалось, весь был насыщен отвратительным смешанным запахом перегоревшей водки, лука, овчинных тулупов, крепкой махорки-бакуна и испарений грязных человеческих тел. Пробираясь осторожно между людьми и с трудом удерживая мотавшего головой Таранчика, я не мог не заметить, что со всех сторон меня провожали бесцеремонные, любопытные и враждебные взгляды. Против обыкновения, ни один человек не снял шапки, но шум как будто бы утих при моем появлении. Вдруг где-то в самой середине толпы раздался пьяный, хриплый выкрик, который я, однако, ясно не расслышал, но в ответ на него раздался сдержанный хохот. Какой-то женский голос стал испуганно урезонивать горлана:

— Тиши ты, дурень… Чего орешь! Услышит…

— А что мне, что услышит? — продолжал задорно мужик. — Что же он мне, начальство, что ли? Он только в лесу у своей…

Омерзительная, длинная, ужасная фраза повисла в воздухе вместе со взрывом неистового хохота. Я быстро повернул назад лошадь и судорожно

сжал рукоятку нагайки, охваченный той безумной яростью, которая ничего не видит, ни о чем не думает и ничего не боится. И вдруг странная, болезненная, тоскливая мысль промелькнула у меня в голове: «Все это уже происходило когда-то, много, много лет тому назад в моей жизни… Так же горячо палило солнце… Так же была залита шумящим, возбужденным народом огромная площадь… Так же обернулся я назад в припадке бешеного гнева… Но где это было? Когда? Когда?..» Я опустил нагайку и галопом поскакал к дому.

Ярмола, медленно вышедший из кухни, принял у меня лошадь и сказал грубо:

— Там, паныч, у вас в комнате сидит из Мариновской экономии приказчик.

Мне почудилось, что он хочет еще что-то прибавить, очень важное для меня и неприятное, мне показалось даже, что по лицу его скользнуло беглое выражение злой насмешки. Я нарочно задержался в дверях и с вызовом оглянулся на Ярмолу. Но он уже, не глядя на меня, тащил за узду лошадь, которая вытягивала вперед шею и осторожно переступала ногами.

В моей комнате я застал конторщика соседнего имения — Никиту Назарыча Мищенку. Он был в сером пиджачке с огромными рыжими клетками,

в узких брючках василькового цвета и в огненно-красном галстуке, с припомаженным пробором посередине головы, весь благоухающий персидской сиренью. Увидев меня, он вскочил со стула и принялся расшаркиваться, не кланяясь, а как-то ломаясь в пояснице, с улыбкой, обнажавшей бледные десны обеих челюстей.

— Имею честь кланяться, — любезно тараторил Никита Назарыч. — Очень приятно увидеться… А я уж тут жду вас с самой обедни. Давно я вас видел, даже соскучился за вами. Что это вы к нам никогда не заглянете? Наши степаньские барышни даже смеются с вас.

И вдруг, подхваченный внезапным воспоминанием, он разразился неудержимым хохотом.

— Вот, я вам скажу, потеха-то была сегодня! — воскликнул он, давясь и прыская. — Ха-ха-ха-ха… Я даже боки рвал со смеху!..

— Что такое? Что за потеха? — грубо спросил я, не скрывая своего неудовольствия.

— После обедни скандал здесь произошел, — продолжал Никита Назарыч, прерывая свою речь залпами хохота. — Перебродские дивчата… Нет, ей-богу, не выдержу… Перебродские дивчата поймали здесь на площади ведьму… То есть, конечно, они ее ведьмой считают по своей

мужицкой необразованности… Ну, и задали же они ей встряску!.. Хотели дегтем вымазать, да она вывернулась как-то, утекла…

Страшная догадка блеснула у меня в уме. Я бросился к конторщику и, не помня себя от волнения, крепко вцепился рукой в его плечо.

— Что вы говорите! — закричал я неистовым голосом. — Да перестаньте же ржать, черт вас подери! Про какую ведьму вы говорите?

Он вдруг сразу перестал смеяться и выпучил на меня круглые, испуганные глаза.

— Я… я… право, не знаю-с, — растерянно залепетал он. — Кажется, какая-то Самуйлиха… Мануйлиха… или. Позвольте… Дочка какой-то Мануйлихи?.. Тут что-то такое болтали мужики, но я, признаться, не запомнил.

Я заставил его рассказать мне по порядку все, что он видел и слышал. Он говорил нелепо, несвязно, путаясь в подробностях, и я каждую минуту перебивал его нетерпеливыми расспросами и восклицаниями, почти бранью. Из его рассказа я понял очень мало и только месяца два спустя восстановил всю последовательность этого проклятого события со слов его очевидицы, жены казенного лесничего, которая в тот день также была у обедни.

Мое предчувствие не обмануло меня. Олеся переломила свою боязнь и пришла в церковь; хотя она поспела только к середине службы и стала в церковных сенях, но ее приход был тотчас же замечен всеми находившимися в церкви крестьянами. Всю службу женщины перешептывались и оглядывались назад.

Однако Олеся нашла в себе достаточно силы, чтобы достоять до конца обедню. Может быть, она не поняла настоящего значения этих враждебных взглядов, может быть, из гордости пренебрегла ими. Но когда она вышла из церкви, то у самой ограды ее со всех сторон обступила кучка баб, становившаяся с каждой минутой все больше и больше и все теснее сдвигавшаяся вокруг Олеси. Сначала они только молча и бесцеремонно разглядывали беспомощную, пугливо озиравшуюся по сторонам девушку. Потом посыпались грубые насмешки, крепкие слова, ругательства, сопровождаемые хохотом, потом отдельные восклицания слились в общий пронзительный бабий гвалт, в котором ничего нельзя было разобрать и который еще больше взвинчивал нервы расходившейся толпы. Несколько раз Олеся пыталась пройти сквозь это живое ужасное кольцо, но ее постоянно отталкивали опять на середи-

ну. Вдруг визгливый старушечий голос заорал откуда-то позади толпы: «Дегтем ее вымазать, стерву!» (Известно, что в Малороссии мазанье дегтем даже ворот того дома, где живет девушка, сопряжено для нее с величайшим несмываемым позором.) Почти в ту же минуту над головами беснующихся баб появилась мазница с дегтем и кистью, передаваемая из рук в руки.

Тогда Олеся в припадке злобы, ужаса и отчаяния бросилась на первую попавшуюся из своих мучительниц так стремительно, что сбила ее с ног. Тотчас же на земле закипела свалка, и десятки тел смешались в одну общую кричащую массу. Но Олесе прямо каким-то чудом удалось выскользнуть из этого клубка, и она опрометью побежала по дороге — без платка, с растерзанной в лохмотья одеждой, из-под которой во многих местах было видно голое тело. Вслед ей вместе с бранью, хохотом и улюлюканьем полетели камни. Однако погнались за ней только немногие, да и те сейчас же отстали… Отбежав шагов на пятьдесят, Олеся остановилась, повернула к озверевшей толпе свое бледное, исцарапанное, окровавленное лицо и крикнула так громко, что каждое ее слово было слышно на площади:

— Хорошо же!.. Вы еще у меня вспомните это!

Вы еще все наплачетесь досыта!

Эта угроза, как мне потом передавала та же очевидица события, была произнесена с такой страстной ненавистью, таким решительным, пророческим тоном, что на мгновение вся толпа как будто бы оцепенела, но только на мгновение, потому что тотчас же раздался новый взрыв брани.

Повторяю, что многие подробности этого происшествия я узнал гораздо позднее. У меня не хватило сил и терпения дослушать до конца рассказ Мищенки. Я вдруг вспомнил, что Ярмола, наверно, не успел еще расседлать лошадь, и, не сказав изумленному конторщику ни слова, поспешно вышел на двор. Ярмола действительно еще водил Таранчика вдоль забора. Я быстро взнуздал лошадь, затянул подпруги и объездом, чтобы опять не пробираться сквозь пьяную толпу, поскакал в лес.

XIII

Невозможно описать того состояния, в котором я находился в продолжение моей бешеной скачки. Минутами я совсем забывал, куда и зачем еду; оставалось только смутное сознание, что совершилось что-то непоправимое, нелепое и ужасное, — сознание, похожее на тяжелую беспричинную тревогу, овладевающую иногда в лихорадочном кошмаре человеком. И в то же время — как это странно! — у меня в голове не переставал дрожать, в такт с лошадиным топотом, гнусавый, разбитый голос слепого лирника:

Ой вышло вийско турецкое,
Як та черная хмара...

Добравшись до узкой тропинки, ведшей прямо к хате Мануйлихи, я слез с Таранчика, на котором по краям потника и в тех местах, где его кожа соприкасалась со сбруей, белыми комьями выступила густая пена, и повел его в поводу. От сильного дневного жара и от быстрой езды кровь шумела у меня в голове, точно нагнетаемая каким-то огромным, безостановочным насосом.

Привязав лошадь к плетню, я вошел в хату. Сначала мне показалось, что Олеси нет дома, и у меня даже в груди и во рту похолодело от страха, но спустя минуту я ее увидел, лежащую на постели, лицом к стене, с головой, спрятанной в подушки. Она даже не обернулась на шум отворяемой двери.

Мануйлиха, сидевшая тут же рядом, на земле, с трудом поднялась на ноги и замахала на меня руками.

— Тише! Не шуми ты, окаянный, — с угрозой зашептала она, подходя ко мне вплотную. И взглянув мне прямо в глаза своими выцветшими, холодными глазами, она прошипела злобно: — Что? Доигрался, голубчик?

— Послушай, бабка, — возразил я сурово, — теперь не время считаться и выговаривать. Что с Олесей?

— Тсс… тише! Без памяти лежит Олеся, вот что с Олесей… Кабы ты не лез, куда тебе не следует, да не болтал бы чепухи девчонке, ничего бы худого не случилось. И я-то, дура петая, смотрела, потворствовала… А ведь чуяло мое сердце беду… Чуяло оно недоброе с того самого дня, когда ты чуть не силою к нам в хату ворвался. Что? Скажешь, это не ты ее подбил в церковь потащиться? — вдруг с

искривленным от ненависти лицом накинулась на меня старуха. — Не ты, барчук проклятый? Да не лги — и не верти лисьим хвостом-то, срамник! Зачем тебе понадобилось ее в церковь манить?

— Не манил я ее, бабка… Даю тебе слово в этом. Сама она захотела.

— Ах ты, горе, горе мое! — всплеснула руками Мануйлиха. — Прибежала оттуда — лица на ней нет, вся рубаха в шматки растерзана… Простоволосая… Рассказывает, как что было, а сама — то хохочет, то плачет… Ну, прямо вот как кликуша какая… Легла в постель… все плакала, а потом, гляжу, как будто бы и задремала. Я-то, дура старая, обрадовалась было: вот, думаю, все сном пройдет, перекинется. Гляжу, рука у нее вниз свесилась, думаю: надо поправить, затекет рука-то… Тронула я ее, голубушку, за руку, а она вся так жаром и пышет… Значит, огневица с ней началась… С час без умолку говорила, быстро да жалостно так… Вот только-только замолчала на минуточку. Что ты наделал? Что ты наделал с ней? — с новым наплывом отчаяния воскликнула старуха.

И вдруг ее коричневое лицо собралось в чудовищную, отвратительную гримасу плача: губы растянулись и опустились по углам вниз, все личные мускулы напряглись и задрожали, брови

поднялись кверху, наморщив лоб глубокими складками, а из глаз необычайно часто посыпались крупные, как горошины, слезы. Обхватив руками голову и положив локти на стол, она принялась качаться взад и вперед всем телом и завыла нараспев вполголоса:

— Дочечка моя-а-а! Внучечка миленькая-а-а!.. Ох, г-о-о-орько мне, то-о-ошно!..

— Да не реви ты, старая, — грубо прервал я Мануйлиху. — Разбудишь!

Старуха замолчала, но все с той же страшной гримасой на лице продолжала качаться взад и вперед, между тем как крупные слезы падали на стол… Так прошло минут с десять. Я сидел рядом с Мануйлихой и с тоской слушал, как, однообразно и прерывисто жужжа, бьется об оконное стекло муха…

— Бабушка! — раздался вдруг слабый, чуть слышный голос Олеси. — Бабушка, кто у нас?

Мануйлиха поспешно заковыляла к кровати и тотчас же опять завыла:

— Ох, внучечка моя, ро-одная-а-а! Ох, горько мне, ста-а-рой, тошно мне-е-е-е…

— Ах, бабушка, да перестань ты! — с жалобной мольбой и страданием в голосе сказала Олеся. — Кто у нас в хате сидит?

Я осторожно, на цыпочках, подошел к кровати с тем неловким, виноватым сознанием своего здоровья и своей грубости, какое всегда ощущаешь около больного.

— Это я, Олеся, — сказал я, понижая голос. — Я только что приехал верхом из деревни… А все утро я в городе был… Тебе нехорошо, Олеся?

Она, не отнимая лица от подушек, протянула назад обнаженную руку, точно ища чего-то в воздухе. Я понял это движение и взял ее горячую руку в свои руки. Два огромных синих пятна — одно над кистью, а другое повыше локтя — резко выделялись на белой нежной коже.

— Голубчик мой, — заговорила Олеся, медленно, с трудом отделяя одно слово от другого. — Хочется мне… на тебя посмотреть… да не могу я… Всю меня… изуродовали… Помнишь… тебе… мое лицо так нравилось?.. Правда, ведь нравилось, родной?.. И я так этому всегда радовалась… А теперь тебе противно будет… смотреть на меня… Ну, вот… я… и не хочу…

— Олеся, прости меня, — шепнул я, наклоняясь к самому ее уху.

Ее пылающая рука крепко и долго сжимала мою.

— Да что ты!.. Что ты, милый?.. Как тебе не стыд-

но и думать об этом? Чем же ты виноват здесь? Все я одна, глупая… Ну, чего я полезла… в самом деле? Нет, солнышко, ты себя не виновать…

— Олеся, позволь мне… Только обещай сначала, что позволишь…

— Обещаю, голубчик… все, что ты хочешь…

— Позволь мне, пожалуйста, послать за доктором… Прошу тебя! Ну, если хочешь, ты можешь ничего не исполнять из того, что он прикажет. Но ты хоть для меня согласись, Олеся.

— Ох, милый… В какую ты меня ловушку поймал! Нет, уж лучше ты позволь мне своего обещания не держать. Я, если бы и в самом деле была больна, при смерти бы лежала, так и то к себе доктора не подпустила бы. А теперь я разве больна? Это просто у меня от испугу так сделалось, это пройдет к вечеру. А нет — так бабушка мне ландышевой настойки даст или малины в чайнике заварит. Зачем же тут доктор? Ты — мой доктор самый лучший. Вот ты пришел, и мне сразу легче сделалось… Ах, одно мне только нехорошо: хочу поглядеть на тебя хоть одним глазком, да боюсь…

Я с нежным усилием отнял ее голову от подушки. Лицо Олеси пылало лихорадочным румянцем, темные глаза блестели неестественно ярко, сухие

губы нервно вздрагивали. Длинные красные ссадины изборождали ее лоб, щеки и шею. Темные синяки были на лбу и под глазами.

— Не смотри на меня… Прошу тебя… Гадкая я теперь, — умоляюще шептала Олеся, стараясь своею ладонью закрыть мне глаза.

Сердце мое переполнилось жалостью. Я приник губами к Олесиной руке, неподвижно лежавшей на одеяле, и стал покрывать ее долгими, тихими поцелуями. Я и раньше целовал иногда ее руки, но она всегда отнимала их у меня с торопливым, застенчивым испугом. Теперь же она не противилась этой ласке и другой, свободной рукой тихо гладила меня по волосам.

— Ты все знаешь? — шепотом спросила она.

Я молча наклонил голову. Правда, я не все понял из рассказа Никиты Назарыча. Мне не хотелось только, чтобы Олеся волновалась, вспоминая об утреннем происшествии. Но вдруг при мысли об оскорблении, которому она подверглась, на меня сразу нахлынула волна неудержимой ярости.

— О! Зачем меня там не было в это время! — вскричал я, выпрямившись и сжимая кулаки. — Я бы… я бы…

— Ну, полно… полно… Не сердись, голубчик, — кротко прервала меня Олеся.

Я не мог более удерживать слез, давно давивших мне горло и жегших глаза. Припав лицом к плечу Олеси, я беззвучно и горько зарыдал, сотрясаясь всем телом.

— Ты плачешь? Ты плачешь? — в голосе ее зазвучали удивление, нежность и сострадание. — Милый мой… Да перестань же, перестань… Не мучь себя, голубчик. Ведь мне так хорошо возле тебя. Не будем же плакать, пока мы вместе. Давай хоть последние дни проведем весело, чтобы нам не так тяжело было расставаться.

Я с изумлением поднял голову. Неясное предчувствие вдруг медленно сжало мое сердце.

— Последние дни, Олеся? Почему — последние? Зачем же нам расставаться?

Олеся закрыла глаза и несколько секунд молчала.

— Надо нам проститься с тобой, Ванечка, — заговорила она решительно. — Вот как только чуть-чуть поправлюсь, сейчас же мы с бабушкой и уедем отсюда. Нельзя нам здесь оставаться больше…

— Ты боишься чего-нибудь?

— Нет, мой дорогой, ничего я не боюсь, если понадобится. Только зачем же людей в грех вводить? Ты, может быть, не знаешь… Ведь я там… в

Переброде… погрозилась со зла да со стыда… А теперь чуть что случится, сейчас на нас скажут: скот ли начнет падать, или хата у кого загорится, — все мы будем виноваты. Бабушка, — обратилась она к Мануйлихе, возвышая голос, — правду ведь я говорю?

— Чего ты говорила-то, внученька? Не расслышала я, признаться! — прошамкала старуха, подходя поближе и приставляя к уху ладонь.

— Я говорю, что теперь, какая бы беда в Переброде ни случилась, все на нас с тобой свалят.

— Ох, правда, правда, Олеся, — все на нас, горемычных, свалят… Не жить нам на белом свете, изведут нас с тобой, совсем изведут, проклятики… А тогда, как меня из села выгнали… Что ж? Разве не так же было? Погрозилась я… тоже вот с досады… одной дурище полосатой, а у нее — хвать — ребенок помер. То есть ни сном ни духом тут моей вины не было, а ведь меня чуть не убили, окаянные… Камнями стали шибать… Я бегу от них, да только тебя, малолетку, все оберегаю… Ну, думаю, пусть уж мне попадет, а за что же дитю-то неповинную обижать?.. Одно слово — варвары, висельники поганые!

— Да куда же вы поедете? У вас ведь нигде ни родных, ни знакомых нет… Наконец, и деньги

нужны, чтобы на новом месте устроиться.

— Обойдемся как-нибудь, — небрежно проговорила Олеся. — И деньги у бабушки найдутся, припасла она кое-что.

— Ну уж и деньги тоже! — с неудовольствием возразила старуха, отходя от кровати. — Копеечки сиротские, слезами облитые…

— Олеся… А я как же? Обо мне ты и думать даже не хочешь! — воскликнул я, чувствуя, как во мне подымается горький, больной, недобрый упрек против Олеси.

Она привстала и, не стесняясь присутствием бабки, взяла руками мою голову и несколько раз подряд поцеловала меня в лоб и щеки.

— Об тебе я больше всего думаю, мой родной. Только… видишь ли… не судьба нам вместе быть… вот что!.. Помнишь, я на тебя карты бросала? Ведь все так и вышло, как они сказали тогда. Значит, не хочет судьба нашего с тобой счастья… А если бы не это, разве, ты думаешь, я чего-нибудь испугалась бы?

— Олеся, опять ты про свою судьбу? — воскликнул я нетерпеливо. — Не хочу я в нее верить… и не буду никогда верить!..

— Ох, нет, нет… не говори этого, — испуганно зашептала Олеся. — Я не за себя, за тебя боюсь,

голубчик. Нет, лучше ты уж об этом и разговора не начинай совсем.

Напрасно я старался разубедить Олесю, напрасно рисовал перед ней картины безмятежного счастья, которому не помешают ни завистливая судьба, ни грубые, злые люди. Олеся только целовала мои руки и отрицательно качала головой.

— Нет… нет… нет… я знаю, я вижу, — твердила она настойчиво. — Ничего нам, кроме горя, не будет… ничего… ничего…

Растерянный, сбитый с толку этим суеверным упорством, я наконец спросил:

— Но ведь, во всяком случае, ты дашь мне знать о дне отъезда?

Олеся задумалась. Вдруг слабая улыбка пробежала по ее губам.

— Я тебе на это скажу маленькую сказочку… Однажды волк бежал по лесу, увидел зайчика и говорит ему: «Заяц, а заяц, ведь я тебя съем!» Заяц стал проситься: «Помилуй меня, волк, мне еще жить хочется, у меня дома детки маленькие». Волк не соглашается. Тогда заяц говорит: «Ну, дай мне хоть три дня еще на свете пожить, а потом и съешь. Все же мне легче умирать будет». Дал ему волк эти три дня, не ест его, а только все стережет. Прошел один день, прошел другой, наконец и

третий кончается. «Ну, теперь готовься, — говорит волк, — сейчас я начну тебя есть». Тут мой заяц и заплакал горючими слезами: «Ах, зачем ты мне, волк, эти три дня подарил! Лучше бы ты сразу меня съел, как только увидел. А то я все три дня не жил, а только терзался!» Милый мой, ведь зайчик-то этот правду сказал. Как ты думаешь?

Я молчал, охваченный тоскливым предчувствием близкого одиночества. Олеся вдруг поднялась и присела на постели. Лицо ее стало сразу серьезным.

— Ваня, послушай… — произнесла она с расстановкой. — Скажи мне: покамест ты был со мною, был ли ты счастлив? Хорошо ли тебе было?

— Олеся! И ты еще спрашиваешь!

— Подожди… Жалел ли ты, что узнал меня? Думал ли ты о другой женщине, когда виделся со мною?

— Ни одного мгновения! Не только в твоем присутствии, но даже и оставшись один, я ни о ком, кроме тебя, не думал.

— Ревновал ли ты меня? Был ли ты когда-нибудь на меня недоволен? Не скучал ли ты со мною?

— Никогда, Олеся! Никогда!

Она положила обе руки мне на плечи и с невы-

разимой любовью поглядела в мои глаза.

— Так и знай же, мой дорогой, что никогда ты обо мне не вспомнишь дурно или со злом, — сказала она так убедительно, точно читала у меня в глазах будущее. — Как расстанемся мы с тобой, тяжело тебе в первое время будет, ох как тяжело… Плакать будешь, места себе не найдешь нигде. А потом все пройдет, все изгладится. И уж без горя ты будешь обо мне думать, а легко и радостно.

Она опять откинулась головой на подушки и прошептала ослабевшим голосом:

— А теперь поезжай, мой дорогой… Поезжай домой, голубчик… Устала я немножко. Подожди… поцелуй меня… Ты бабушки не бойся… она позволит. Позволишь ведь, бабушка?

— Да уж простись, простись как следует, — недовольно проворчала старуха. — Чего же передо мной таиться-то?.. Давно знаю…

— Поцелуй меня сюда, и сюда еще… и сюда, — говорила Олеся, притрагиваясь пальцем к своим глазам, щекам и рту.

— Олеся! Ты прощаешься со мною так, как будто бы мы уже не увидимся больше! — воскликнул я с испугом.

— Не знаю, не знаю, мой милый. Ничего не знаю. Ну поезжай с богом. Нет, постой… еще ми-

нуточку… Наклони ко мне ухо… Знаешь, о чем я жалею? — зашептала она, прикасаясь губами к моей щеке. — О том, что у меня нет от тебя ребеночка… Ах, как я была бы рада этому!

Я вышел на крыльцо в сопровождении Мануйлихи. Полнеба закрыла черная туча с резкими курчавыми краями, но солнце еще светило, склоняясь к западу, и в этом смешении света и надвигающейся тьмы было что-то зловещее. Старуха посмотрела вверх, прикрыв глаза, как зонтиком, ладонью, и значительно покачала головой.

— Быть сегодня над Перебродом грозе, — сказала она убедительным тоном. — А чего доброго, даже и с градом.

XIV

Я подъезжал уже к Переброду, когда внезапный вихрь закрутил и погнал по дороге столбы пыли. Упали первые — редкие и тяжелые — капли дождя.

Мануйлиха не ошиблась. Гроза, медленно накоплявшаяся за весь этот жаркий, нестерпимо душный день, разразилась с необыкновенной силой над Перебродом. Молния блистала почти беспрерывно, и от раскатов грома дрожали и звенели стекла в окнах моей комнаты. Часов около восьми вечера гроза утихла на несколько минут, но только для того, чтобы потом начаться с новым ожесточением. Вдруг что-то с оглушительным треском посыпалось на крышу и на стены старого дома. Я бросился к окну. Огромный град, с грецкий орех величиной, стремительно падал на землю, высоко подпрыгивая потом кверху. Я взглянул на тутовое дерево, росшее около самого дома, — оно стояло совершенно голое, все листья были сбиты с него страшными ударами града… Под окном показалась еле заметная в темноте фигура Ярмолы, который, накрывшись с головой

свиткой, выбежал из кухни, чтобы притворить ставни. Но он опоздал. В одно из стекол вдруг с такой силой ударил громадный кусок льду, что оно разбилось, и осколки его со звоном разлетелись по полу комнаты.

Я почувствовал себя утомленным и прилег, не раздеваясь, на кровать. Я думал, что мне вовсе не удастся заснуть в эту ночь и что я до утра буду в бессильной тоске ворочаться с боку на бок, поэтому я решил лучше не снимать платья, чтобы потом хоть немного утомить себя однообразной ходьбой по комнате. Но со мной случилась очень странная вещь: мне показалось, что я только на минутку закрыл глаза; когда же я раскрыл их, то сквозь щели ставен уже тянулись длинные яркие лучи солнца, в которых кружились бесчисленные золотые пылинки.

Над моей кроватью стоял Ярмола. Его лицо выражало суровую тревогу и нетерпеливое ожидание: должно быть, он уже давно дожидался здесь моего пробуждения.

— Паныч, — сказал он своим тихим голосом, в котором слышалось беспокойство. — Паныч, треба вам отсюда уезжать…

Я свесил ноги с кровати и с изумлением поглядел на Ярмолу.

— Уезжать? Куда уезжать? Зачем? Ты, верно, с ума сошел?

— Ничего я с ума не сходил, — огрызнулся Ярмола. — Вы не чули, что вчерашний град наробил? У половины села жито, как ногами, потоптано. У кривого Максима, у Козла, у Мута, у Прокопчуков, у Гордия Олефира… наслала-таки шкоду ведьмака чертова… чтоб ей сгинуть!

Мне вдруг, в одно мгновение, вспомнился весь вчерашний день, угроза, произнесенная около церкви Олесей, и ее опасения.

— Теперь вся громада бунтуется, — продолжал Ярмола. — С утра все опять перепились и орут… И про вас, панычу, кричат недоброе… А вы знаете, яка у нас громада?.. Если они ведьмакам що зробят, то так и треба, то справедливое дело, а вам, панычу, я скажу одно — утекайте скорейше.

Итак, опасения Олеси оправдались. Нужно было немедленно предупредить ее о грозившей ей и Мануйлихе беде. Я торопливо оделся, на ходу сполоснул водою лицо и через полчаса уже ехал крупной рысью по направлению Бисова Кута.

Чем ближе подвигался я к избушке на курьих ножках, тем сильнее возрастало во мне неопределенное, тоскливое беспокойство. Я с уверенностью говорил самому себе, что сейчас меня

постигнет какое-то новое, неожиданное горе.

Почти бегом пробежал я узкую тропинку, вившуюся по песчаному пригорку. Окна хаты были открыты, дверь растворена настежь.

— Господи! Что же такое случилось? — прошептал я, входя с замиранием сердца в сени.

Хата была пуста. В ней господствовал тот печальный, грязный беспорядок, который всегда остается после поспешного выезда. Кучи сора и тряпок лежали на полу, да в углу стоял деревянный остов кровати…

С стесненным, переполненным слезами сердцем я хотел уже выйти из хаты, как вдруг мое внимание привлек яркий предмет, очевидно нарочно повешенный на угол оконной рамы. Это была нитка дешевых красных бус, известных в Полесье под названием «кораллов», — единственная вещь, которая осталась мне на память об Олесе и об ее нежной, великодушной любви.

<1898>